

Михаил Васильевич Авдеев

Тамарин



Михаил Авдеев

Тамарин

«Public Domain»

1851

Авдеев М. В.

Тамарин / М. В. Авдеев — «Public Domain», 1851

«Весной 184* года я возвратился благополучно в свое родовое Редькино, которое, по домашним обстоятельствам, ездил перезакладывать в Московский опекунский совет. Вечером за самоваром, который был подан часом позже обыкновенного, потому что моя Марья Ивановна рассматривала и примеривала чепцы да уборы, привезенные мной с Кузнецкого моста, я наслаждался семейным счастьем. В саду перед окнами мои четверо мальчишек пересматривали и рвали книжки с картинками, отнимали у сестры куклы, кричали и возились, несмотря на присутствие двух нянек, которые сидели в пяти шагах. Я, куря трубку, любовался ими, допивал третий стакан чаю, пускал колечки из дыму и слушал жену, которая, отобрав от меня нужные сведения о моей московской жизни, рассказывала свои домашние распоряжения, вновь открытые ею мошенничества по имению, меры исправления и, наконец, жизни и приключения наших соседей. Перебрав по косточкам старых знакомых, очередь дошла до новых; я стал внимательнее...»

© Авдеев М. В., 1851

© Public Domain, 1851

Содержание

Предисловие автора	5
Варенька	7
I	7
II	8
III	12
IV	16
V	19
VI	22
VII	25
VIII	30
IX	35
X	39
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Михаил Васильевич Авдеев Тамарин

Предисловие автора

Настоящий роман был напечатан отдельными повестями в «Современнике» 1849, 1850 и 1851 годов. Это раздробление имело свои неудобства: общая идея романа и развитие и изменение характеров, представляясь по частям, не были вполне ясны и не производили цельного впечатления. Издавая ныне этот роман вполне, я считаю нужным сказать несколько слов о цели, с которой он был задуман, и моем взгляде на ее исполнение. Автор разбора сочинений Пушкина (в «Отечественных записках») заметил, что Онегин и Печорин составляют один тип и что характер Печорина есть тот же характер Онегина, изменившийся при последовательном развитии. Это замечание, по моему мнению весьма справедливое, дало мне мысль проследить дальнейшее развитие типа героев своего времени, имевшего еще и в нашем своих представителей. Вот цель, с которой я задумал Тамарина. Характер этот, породивший столько разнородных толков, требует объяснения. Поэтому я обращаюсь к его первообразам.

Евгений Онегин был верный список молодых людей, героев тогдашнего времени, список, сделанный рукой гениального художника, каков был Пушкин. Успех его был огромен, как успех превосходного литературного произведения, но он не имел влияния на действительную жизнь – он не произвел Онегиных или подражателей Онегина в обществе, да и не мог этого сделать, потому что Онегины были и без того, потому что пушкинский Онегин был не оригинал, а только художественно верный портрет действительности. Не таков был Печорин.

Лермонтов в предисловии к своему роману говорит про Печорина: «Это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии». Так задумал Печорина Лермонтов, но, создавая его, он увлекся своим героем и поставил его в... поэтическом полусвете, который... придал ему ложную грандиозность. Критика и позднейшее здравомыслящее поколение поняли эту ошибку и свели Печорина с пьедестала, на который поставил его автор; но иначе поняло его большинство его современников. Ослепленное ярким эффектом красок и искусной драпировкой героя, это большинство увлеклось им и, вместо того чтобы увидеть в нем образец своих недостатков... стало ему подражать. От этого, в противоположность Онегину Пушкина, который был портретом с действительных Онегиных, Печорин Лермонтова сделался оригиналом, породивших Печориных в обществе. И не близорукая бездарность составляла (теперь уже можно говорить в прошедшем) этот класс действительных Печориных. Люди с умом сильным, с душой, жаждущей деятельности, но не умевшие найти полезного и благородного приложения этой деятельности, увлеклись печоринством. Оно было по ним; оно успокаивало их неутомимое самолюбие, давало пищу их бессильной энергии: оно помогало им обманывать самих себя. С этих-то действительных Печориных писан мой Тамарин – тип замечательный и интересный, имевший свое блистательное время, когда и сам он, и другие верили в его искренность, и доживший в наших глазах до полного и горького разочарования. Описать то и другое, показать обществу и человеку, как они добродушно обманывались, и показать разоблачение этого обмана – вот в чем была моя задача; вот отчего упрек в сходстве с Печориным первым повестям этого романа. Но гораздо менее справедлив другой высказанный мне упрек, что я увлекся моим героем и описывал его с любовью, которой он не заслуживает. Нет, я не увлекся им, потому что разоблачил его из того ложного наряда, в который он эффектно драпировался; я показал ложь этой драпировки ему самому и тем, которые простодушно верили ей, но я описывал его с любовью, как люблю всех добрых лиц моих рассказов. Я не сатирик, который смотрит на все с исключительной точки зрения насмешки, и не оптимист, который видит

во всем одну хорошую сторону, я заблуждаюсь там, где постановка лица вводит в заблуждение его окружающих, и разуверяюсь там, где яркий свет обличает в их глазах обман ложной обстановки. Я не ставлю перед читателем сразу моих героев, так как они есть, но показываю их так, как они кажутся. Может быть, от этого мои действующие лица теряют голую и холодную верность своей натуре, но они выигрывают в живости, теплоте и искренности описания. Я, может быть, ошибаюсь, но это мой личный взгляд.

С этой точки зрения странно было требовать, чтобы простодушный (и как рассказчик, не вполне выдержавший свой характер) Иван Васильич и деревенская девочка Варенька не заблудились в ошибочном понимании Тамарина. Еще было бы страннее, если бы я и самого Тамарина заставил в своих же записках смеяться над собою и рассказывать, как он морочит почтенную публику; тогда как весь его характер состоит именно в том, что он сам в себе обманывается. От этого-то он и заслуживает сожаление и участие, а не насмешку; от этого-то я и говорю, что описывал его с любовью, как люблю всех добрых лиц моих рассказов. Припомните, что Пушкин заставил сказать своему Онегину одну даму:

«Но вы совсем не так опасны, И знали ль вы до сей поры, Что просто очень вы добры».

И таким действительно понимал Пушкин своего Онегина. От этого и Тамарин в конце своих записок является просто добрым человеком, каким он и есть в самом деле.

Что касается до Иванова, то это не противоположность Тамарина, как некоторые думают, а более современный и близкий нам тип, как я его понимаю. Он у меня очерчен настолько, насколько был нужен для Тамарина, и, если характер этот несколько сух и беден поэтической стороной, то тем не менее, я полагаю, верен действительности.

Писатель, издающий в свет свое сочинение, ставится в невыгодное положение, если молча выслушивает толки и суждения о своем произведении и не отвечает на них. Поэтому я счел нужным высказать свой взгляд на предлагаемый роман. Верен ли этот взгляд и каково выполнил я свою задачу, об этом уж не мне судить.

*М. Авдеев
С.-Петербург,
26 ноября 1851 года.*

Варенька

(Рассказ Ивана Васильевича)

I

Весной 184* года я возвратился благополучно в свое родовое Редькино, которое, по домашним обстоятельствам, ездил перезакладывать в Московский опекунский совет. Вечером за самоваром, который был подан часом позже обыкновенного, потому что моя Марья Ивановна рассматривала и примеривала чепцы да уборы, привезенные мной с Кузнецкого моста, я наслаждался семейным счастьем. В саду перед окнами мои четверо мальчишек пересматривали и рвали книжки с картинками, отнимали у сестры куклы, кричали и возились, несмотря на присутствие двух нянек, которые сидели в пяти шагах. Я, куря трубку, любовался ими, допивал третий стакан чаю, пускал колечки из дыму и слушал жену, которая, отобрав от меня нужные сведения о моей московской жизни, рассказывала свои домашние распоряжения, вновь открытые ею мошенничества по имению, меры исправления и, наконец, жизни и приключения наших соседей. Перебрав по косточкам старых знакомых, очередь дошла до новых; я стал внимательнее.

– В Рыбное приехал, – говорила Марья Ивановна, – новый помещик Тамарин, франт, говорят, такой. Я его еще не видела... Ведь ты его знаешь?

– А! Сергей Петрович приехал! Давно пора; ведь уж два года, как умерла покойница Анна Игнатьевна; я с ним познакомился еще зимой в N. по случаю размежки, и еще тогда говорил, что надо ему побывать в Рыбном. Насилу послушался!

– Как же, так он тебя и послушался! Большая нужда ему, что в деревне обворовывают! Приехал бы он за этим, если б не было Лидии Петровны!

– А! И Лидия Петровна здесь?

– Здесь, уж недели две, как с мужем притащилась; он старик, а ей лет двадцать пять; такая хорошенькая. Нездорова, говорит, нужен сельский воздух. Невидаль – сельский воздух, будто в Петербурге воздуха нет!

– Как же, матушка! Известно, сельский воздух очень здоров, в книгах пишут и все говорят!

– Вздор все говорят: я вот седьмой год живу в деревне, а все больна.

После этого мне о воздухе спорить было нечего: действительно, дня не проходит, чтобы моя Марья Ивановна чем-нибудь не пожаловалась: то бок завалило, то под ложечкой давит, а сама, прости Господи, так и плывет: всякий месяц капоты расставляют. Странная болезнь такая!

– Ну, что? А каков этот Сергей Петрович? Гордец, говорят.

– Э, полно, матушка! Правда, он немного со странностями и сначала как будто горд, – ну, человек нынешнего века, не нашего поля ягода, – а впрочем, славный малый! Я у него не раз обедывал: гастроном такой.

– Так тебе, душанчик, надо сделать ему визит, и самим отплатить ему хлебом-солью. Поедешь к нему?

– Поеду, матушка, поеду, только меня что-то сон клонит; чаю я больше не хочу, а велика дать поужинать.

II

Дня через три я собрался объездить моих соседей. Позавтракав, часу в десятом утра, я велел заложить тарантас, взял в узелок новый коричневый фрак и отправился. Ближе всего от нас Рыбное. Оно принадлежало бригадирше Анне Игнатьевне княгине Кутуказевой, а после нее досталось внуку ее по дочери, отставному поручику Сергею Петровичу Тамарину, к которому я и ехал. Рыбное стоит над озером, в котором водится немного раков и очень много лягушек. Сообразив это, мне показалось странным его название. Я обратился к кучеру:

– Терентий, в Рыбном озере ведь нет рыбы?

– Нет, – сказал он, не оборачиваясь.

– Так отчего же оно названо Рыбным?

– Да на берегу завод, вино курят, – отвечал он, не задумавшись.

Мне показалось это объяснение не совсем понятным: почему озеро названо Рыбным оттого, что на берегу винокуренный завод? Я усомнился даже, действительно ли Терентий хотел ответить на мой вопрос, или в его курчавой, угловатой голове лениво переворачивалась идея о вине и винокуренном заводе и он на первый вопрос выпустил эту завалившуюся идею. Дальнейшие расспросы я почел излишними и молча доехал до Рыбного. Старый барский дом, в котором жил Тамарин, был выстроен над озером. Деревянный, длинный, серый от старости, грустно глядел он своими мелкими зелеными стеклами с горы на противоположный плоский берег. От дома до озера спускался старинный английский сад с заросшими аллеями из столетних деревьев. Вправо и влево тянулись сперва службы и амбары, а потом крестьянские избы. Сзади каретники, конюшни, гумно и далекое пустое поле, с зеленеющимися озимыми и черным паром. Когда я подъехал к крыльцу, на колокольчик выбежал хорошенький мальчик, в сером куце фраке, с белыми гербовыми пуговицами.

– Дома Сергей Петрович?

– Дома, сейчас встали. Как прикажете доложить?

– Скажи из Редькина, мол, Иван Васильич. Мальчик убежал, а я вошел в большую залу, с низенькими хорами. Посредине стоял бильярд, верно, переставленный по приказанию Сергея Петровича, потому что прежде он стоял в боковой комнате, правда, немного узкой, но в стороне более в ней мебели не было.

Через минуту вошел высокий усатый человек в сером, тоже каком-то куце не то сюртуке, и то фраке – это был камердинер Сергея Петровича я его видел в городе.

– Сергей Петрович извиняется: они еще не одеты, – сказал он. – А если вы не будете в претензии, то приказали просить.

После этого приема я хотел было воротиться да надеть коричневый фрак, но раздумал. Сергей Петрович – человек хороший, да городской и еще столичный, в деревне извиняется, что не одет, люди во фраках да жилетах, и всего-то двое в доме! Желал бы я посмотреть, как бы он вырядил так двадцать семь человек моих дворовых?

Человек провел меня в среднюю гостиную, из которой дверь вела в сад; у покойницы тут была чайная, а он из нее сделал кабинет. Сергей Петрович встретил меня в дверях. Я думал, что он и в самом деле не одет или если и прикрыт чем, то чем-нибудь этак в роде онатюрель, как говорится, а он сидит у себя дома, а сам точно с модной картинки, что жена получает. Черный, странного покроя robe de chambre на малиновом подбое, брюки, которые как-то закрывали ногу вплоть до самого носка, что мог только один немец выдумать, а русскому человеку и в голову не придет, и сверх них крошечные бархатные туфли, которые, по правде сказать, моей Марье Ивановне и на шелковый чулок не взлезут.

– А! Иван Васильич, это вы? А мне сказали, что какой-то Редькин приехал, – сказал Сергей Петрович, протягивая мне свою маленькую руку, которую я всегда боялся дружески пожать, опасаясь сломать ее.

– Нет, Сергей Петрович, это я. Я сказал: доложи, мол, Иван Васильич из Редькина; а мальчик и перебрал. Редькин! Какой я Редькин? Я слава Богу, Попов, а не Редькин!

– Не хотите ли чаю? – сказал Сергей Петрович, опустившись в вольтеровское кресло и усадив меня против себя.

– Покорно вас благодарю, я уже позавтракал; а впрочем, от стаканчика с дороги не откажусь.

Мне подали чаю; на столе стояли ветчина, масло, телятина. Сергей Петрович предложил мне их к чаю, уверяя, что это очень хорошо. Но я поблагодарил и, признаюсь, подумал было, что он хочет подшутить надо мной: мне и в голову бы не пришло, что можно есть ветчину с чаем, если бы после не видал своими глазами, как сам Сергей Петрович не раз употреблял ее. Станный человек был этот Сергей Петрович! Я, например, никогда не видел, чтобы он горячился. Староста ли его надует, а он заметит; призовет старосту, скажет, что он дурак, потому что и надуть порядочно не умеет, – и он у него опять старостой; лакей ли налижется до полуженья риз, лыка не вяжет, на ногах не стоит, а уверяет и божится, что маковой росинки во рту не бывало, – у меня вчуже сердце надорвется, а Сергей Петрович с ним и не спорит, велит ему лечь спать и на другой день ничего не сделает! Добр был он очень, а уж язычок – не приведи Бог! Смешно сказать: я, например, и турецкую кампанию делал, и в Польше был, пули, бывало, визжат над ухом, ядра летят над головой – не поклонись, стоишь себе к ничему, только какие-то мурашки по телу ползают; а когда в обществе зайдет речь про меня и Сергей Петрович в разговор вступит – поверите ли? – беспокойно на стуле сидеть и платье как будто узко становится! Думаешь себе: как вздумается ему окрестить тебя так, шутки ради, каким-нибудь словом, холодно, мимоходом, как он иногда это делает, а огорошит им хуже пули, и насмеется над тобой всякий, и дурак, и умный, и пойдет это словцо, из уст в уста, – ну, опозорит на веки! Да еще так, что и придаться не к чему. Однако ж Сергей Петрович, спасибо ему, никогда надо мной не смеялся; за это, может, и любил я его.

Да, я его очень любил, хотя, по правде сказать, мне от него не было ни тепло ни холодно. Только сам не знаю отчего, а я всегда чувствовал над собой его превосходство, и это меня несколько не удивляло и не огорчало, как будто так и следовало быть. А как подумаешь – так точно удивительно, потому что не один я, хотя другие и не сознаются, и не относительно только себя я видел это превосходство, эту какую-то силу, которая делала то, что когда он бывает в обществе, каком бы то ни было, где даже и важные люди есть, хотя он молчит себе, хоть ничего не делает, а чувствуешь, что первый в этом обществе Сергей Петрович! Ну, что он такое? Отставной поручик, еще и армейский, владетель каких-нибудь трех сотен душ, не князь, не граф, а Тамарин, то же, что наш брат Попов! За что бы, казалось, считать его лучше себя и других? Так нет, подите же, считаешь себе да и только! Разве что умен? Действительно, умен, в этом и враг его сознается. Да что в этом уме? Какую пользу приносит ему этот ум, позвольте вас спросить? Что он, заставит каждого язык прикусить?! Велика важность! Что ж это за ум, с которым он весь век только глупости делает? Напроказничал что-то в Петербурге, историю имел, карьеру испортил и был бы без гроша, как бы не бабушкино наследство! Да это и всякий сумеет сделать! По-моему, такой ум гроша не стоит! Григорий Григорьич, например, вот так ум! Пошел служить писцом во фризовой шинели, а теперь с тысячью душ, и капиталец есть. Вот ум, так ум!

Сергей Петрович был среднего роста, тонок и чрезвычайно строен; ноги и руки крошечные, но мускулистые; черты лица правильные, умные и чрезвычайно спокойные; волосы светлые, мягкие, шелковистые; глаза большие, карие, прекрасные глаза, но странные. Обыкновенно они, как и все лицо его, были очень холодны и покойны; но, казалось, в глубине их таилась

какая-то особенная сила. Если он одушевлялся, что, впрочем, бывало довольно редко, то они начинали светиться более и более. Тогда в них одних проявлялось столько воли, твердой и непреклонной, такая сила характера, какую мне никогда не случалось видеть в самых резких и выразительных физиономиях, а в нем и подозревать было нельзя. Вообще он был недурен собой, по-видимому, довольно слабый, бледный, очень грациозный, но медленный в движениях и как будто усталый. Раз я его спросил:

– Отчего это вы всегда как будто утомлены чем-то, Сергей Петрович?

– Жизнью, Иван Васильич, – отвечал он по обыкновению полушутя, полусерьезно, так что не знаешь, высказывает ли он свою мысль, или говорит, чтобы только сказать что-нибудь.

«Есть отчего устать, – подумал я. – Тяжела твоя жизнь: поутру ногти чистить, а остальное время барыням сказки сказывать».

Итак, сидел я у Сергея Петровича, пил чай и курил из своей дорожной трубки, а он, по обыкновению, курил папиросу да ногти чистил: поутру он вечно насвистывает итальянские арии да ногти чистит, такая уж у него была привычка. Я ему говорил про озими да про запашку, а он мне отвечал, что ничего в них не понимает. Так мы проговорили с час места.

Погода была чудесная, дверь в сад была растворена, чрез нее вид на озеро и за ним на красивую усадьбу барона Б*** был отличный; в воздухе не шелохнется; мы сидели да покуривали, когда вошел мальчик и подал Сергею Петровичу на маленьком серебряном подносе записочку. Ну что опять за мода на серебряном подносе записочки подавать? Ведь вез же ее, чай, фореитор в засаленном полушубке! Не на подносе же вез он ее?

Сергей Петрович лениво пробежал записку, бросил на стол и велел сказать: «хорошо».

«От кого бы это? – думал я. – Бумажка с гербом и облатка гербовая».

– Что вы улыбаетесь, Иван Васильич? – спросил Сергей Петрович.

– Да ничего, я так улыбнулся!

– Вы думаете о записке?

– Я нескромных вопросов не делаю, – отвечал я.

– Эта записка от баронессы Б***, она зовет меня ехать верхом с ней; видите, тут нет ничего особенного.

– Что тут необыкновенного, что молодая дама к вам записки пишет! Очень обыкновенно.

– Вы находите, может быть, это странным, непозволительным? – сказал Сергей Петрович таким тоном, как будто он спрашивал киргиза: «А что, странно, братец, что я вилкой беру говядину?»

– Нет, – отвечал я, – чего ж тут непозволительного, верхом ездить очень позволительно. – А сам думаю: что ж мне за дело, ведь записка не от Марьи Ивановны, а чужой лоб не мне на голове носить.

Сергей Петрович позвонил.

– Оседлать Джальму! Я взялся за фуражку.

– Подождите, Иван Васильич, куда вы?

– Да я к Мавре Савишне.

– К какой Мавре Савишне?

– В Неразлучное.

– Это по пути к барону?

– По одной дороге: версты три за Лункиным.

– Поедемте вместе!

Сергей Петрович спросил переодеться: надел серенькую жакетку, круглую кожаную фуражку с длинным козырьком, взял хлыстик, – ну, англичанин чистый! – и мы отправились, он верхом, а я в тарантасе. Пока мы ехали вместе, я любовался Джальмой. Что это за конь! Карабаир чистой крови! Сергей Петрович привел его из Оренбурга, где купил на меновом дворе у хивинцев. Тонкий, стройный, весь из жил и кости. А привязан был к Сергею Петро-

вичу как собака. Бросит он его, и стоит Джальма как вкопанный; защелкает Сергей Петрович, свистнет, и Джальма пред ним как лист перед травой. Серый в яблоках; чуть проедет на нем, и он делался розовый: так тонка была у него кожа; глаза горят, а смирен как голубь! Сергей Петрович сказывал, что он купил его на пристяжку. В первый раз он пошел удивительно. Во второй только поднесли хомут, а он и задом и передом; кое-как ввели в постромки, он изорвал зубами хомут на себе и коренной и лег – так и отбилсЯ от запряжки. Но уж верхового коня я лучше не видывал!

Я и не видел, как мы обогнули озеро и подъехали к Лункину, так засмотрелся я на коня и седока. И седок хорош; сидел как прикованный; отлично ездил Сергей Петрович, и, спасибо, не по-английски, а по-русски... терпеть не могу этой езды вприсядку! Только он вечно сидел в седле опустившись, как будто ему тяжело держаться прямо: видно, привык к мягким креслам.

– Сергей Петрович! – сказал я ему шутя. – Продай коня.

– Не продажный, а заветный, – отвечал он.

– А что завету?

– Да то, чего нет у вас, Иван Васильич: женское чистое сердце! – сказал он, кивнув головою, и повернул в Лункино к барону.

«Экий сердцеед какой! Вишь чего захотел», – подумал я и поехал крупной рысью к Мавре Савишне.

III

Есть лица, в присутствии которых становится как-то тепло на сердце. К числу их принадлежала моя добрая знакомая и соседка Мавра Савишна со своей дочкой Варенькой. Перо мое с любовью останавливается на их портретах.

Мавра Савишна была вдова секунд-майора, добрая русская помещица полутора ста душ; как теперь вижу ее маленькую фигурку с чепцом на голове, очками на носу и вечным чулком в руках. Я не знаю человека, который бы не любил Мавры Савишны. Правду сказать, знаю мало я таких, кого бы она не любила.

Мавра Савишна почти безвыездно после смерти мужа жила в деревне да любовалась своей дочкой Варенькой. Варенька была для нее все, и не на бесплодную почву падала любовь ее: Варенька стоила этой любви.

Не будь я женат и не имей пять человек детей, я бы влюбился в Вареньку... да нет, не влюбился бы: не посмел бы влюбиться в нее, а любил и люблю ее как родную дочь; и мудреного нет – она выросла на моих глазах.

Будь я живописец и скажи мне кто-нибудь: «Иван Васильич, напиши какого-нибудь вестника радости и мира», – и я бы написал портрет Вареньки.

Ей было осмнадцать лет; она была немного более среднего роста. Не была она полна и не была тонка, но такого грациозного, такого гибкого, так мягко схваченного стана и не придумаешь. И голова была по стану: во всем лице ни одной классически правильной, резкой черты, которая бы бросилась в глаза; но все так чисты, так добры, так сгармонированы, что казалось, природа с особенной любовью занималась созданием их. Больше всего мне нравились ее глаза: большие, темно-голубые, светло и спокойно смотрели они на Божий мир, как будто в нем не было ни нужды, ни горя, ни потерь, ни заботы, ни длинного ряда заблуждений и обманов, в конце которого часто стоит разочарование и могила.

Я сказал, что Мавра Савишна почти безвыездно жила в деревне, но я ошибся: когда Вареньке минуло шестнадцать лет, она две зимы сряду ездила с ней в свой губернский город, где у нее были дела.

В эти две зимы Варенька выезжала много, и не одни вечер, далеко за полночь, молча просиживала на балах Мавра Савишна, любяясь на свою дочку.

Но свет не привязал к себе Вареньки своими пестрыми удовольствиями, своими ловкими кавалерами. Весело и покойно смотрела она на офицеров и белогалстучных франтов. Шутя выслушивала она их полущутливые, полусерьезные признания, и ни разу ее девственное сердце не забилося сильнее обыкновенного. Варенька любила всех и потому никого не любила. Смотря на своих подруг, которые часто выбирали ее в поверенные, она большей частью находила их глубокие чувства слишком мелкими, их вечную любовь слишком кратковременной, их постоянных обожателей слишком ветреными; странны и непонятны казались ей увлечения любви, и, раздумывая о себе в долгие вечерние прогулки по темному саду, сознавала она, что не способно ее доброе любящее сердце забиться этой любовью, что не закипит огнем страсти ее теплая кровь и что благо сделала природа, дав ей много любви и раздробив эту любовь на весь мир.

Вареньку воспитывала гувернантка-швейцарка. В шестнадцать лет Варенька бегло играла на фортепьяно, говорила по-французски как француженка и пела серебряным голоском хоть и без искусства, но с той натуральной прелестью, которую природа дает соловью и иногда хорошенькой девушке. Добрая гувернантка не успела налюбоваться своей питомицей: она умерла в то время, когда та начинала только жить, и оставила Вареньке свой маленький капитал, скопленный в ее же доме, – так любила она ее!

Но Варенька, оставшись одна, со своей доброй, любящей ее до беспамятства матерью, но которая не имела на нее никакого морального влияния, не была уже ребенок. Спокойно закрылись глаза ее доброй гувернантки, которая знала, что в ее семнадцатилетней Вареньке есть чистая душа, верный и светлый взгляд на жизнь и крепкая твердая воля.

Итак, я ехал в Неразлучное. За полверсты приветливо взглянул на меня желтенький домик с зелеными ставнями; у подъезда с низким поклоном встретил меня старый слуга Савельич, в длинном синем сюртуке и с зачесанными с затылка наперед волосами; а на террасе, выходящей в сад и крытой холстом от солнца, радушно приняла Мавра Савишна в широких креслах, с очками на носу, тоненьким чулком в руке и собачкой у ног.

– Ба, Иван Васильич! Здравствуйте, батюшка, здравствуйте! Каково в Москву съездили? А мы соскучились без вас. Вчера еще Вареньку спрашиваю: что, мол, это Иван Васильич долго не едет? А она говорит: не знаю, маменька. Ан вот и Иван Васильич! Ну, очень рада... А что Марья Ивановна?

Я подошел к руке, сказал, что Марья Ивановна слава Богу и свидетельствует свое почтение, – ну, и прочее.

Мавра Савишна спросила меня, не хочу ли я закусить, и хоть я и отказался и сказал ей, что сейчас только чай пил и закусывал, и честью уверял, что сыт, но она все-таки велела подать водку и завтрак: такая уж была хлебосолка!

– А что Варвара Александровна? – спросил я.

– Варенька в саду: Володя Имшин из города приехал и письмо ей привез, так она и спрашивает его про городские новости. Варенька! Варенька! – кричала Мавра Савишна, склонясь за перила: – Иван Васильич приехал!

– Иду, тапан, иду! – отвечал серебряный голосок, и в аллее показалась стройная фигура Вареньки.

Володя Имшин был наш земляк и сосед Мавры Савишны. Лет пять назад отец отвез его в Петербург и, возвратясь домой, умер, как будто ему и делать на свете было нечего. Володя остался сиротой, не доучился в каком-то заведении, прослужил года два в канцелярии и с чином четырнадцатого класса вышел в отставку, чтобы заняться имением, которое досталось ему от отца довольно запутанным. И хорошо сделал Володя, что вышел в отставку: до генералов он бы не дослужился, а имение бы расстроил. Имшин был мальчик лет двадцати с небольшим, румяный, курчавый, хорошенький собой; все его любили как доброго малого, и губернские барышни, с которыми он вместе вырос, звали его меж себя Володей, а в глаза Вольдемаром.

Чрез минуту пришла Варенька из сада и за ней Володя. Беленькая, розовая, она протянула мне свою маленькую ручку, и в голубых глазках ее я читал удовольствие.

– Откуда вы? – спросила она меня после первых обычных вопросов.

– Из Рыбного от Сергея Петровича Тамарина.

– А вы знакомы с ним?

– Как же! Имею это удовольствие, – отвечал я.

Мы поговорили о том о сем. Подали закуску; я выпил рюмку травнику, который у Мавры Савишны был отличный. Мавра Савишна вышла куда-то по хозяйству. Мы остались вдвоем.

Володя закурил папиросу и стал разговаривать с попугаем, который сидел в углу; а мы с Варенькой пошли в сад.

– Так вы знаете Тамарина? – начала Варенька.

– Знаю! – отвечал я. – Хорошо знаю.

– Похож он на демона?

– Господь с вами, Варвара Александровна! С чего вы это взяли? Сергей Петрович – хороший человек. А впрочем, я демона не знаю!

– Вам мой вопрос показался странным; но прочтите, что мне пишет Наденька.

И она вынула из кармана и подала мне тоненькое письмецо на разрисованной бумажке.

Вот что писала Наденька, губернская девушка и львица, задушевный друг Вареньки.

«Вчера вечером Володя был у нас и сказал, что он едет в свою деревню и, конечно, тотчас же увидит тебя, *ma chere Barbe*! Как я позавидовала ему, как я хотела бы обнять тебя, расцеловать и поболтать о многом, о многом! Впрочем, о чем же бы мы стали говорить с тобой? Я все это время не живу, а прозябаю. Молодежь у нас все такая скучная, приторная; веселостей нет, скучно, Варенька! Володя все вздыхает по тебе и ждет случая уехать! Тамарин тоже уехал. Да! Ведь Тамарин в ваших краях, кажется; видела ли ты его? Это лицо очень замечательное, хотя я его терпеть не могу. Он приехал сюда прошедшей весной, вскоре после твоего отъезда. Молва опередила его, и вскоре он стал у нас героем гостиных; он очень умен, недурен собой, остер и зол на язык; с ним весело поболтать, но такого холодного создания, такого эгоиста я не видывала! Он ухаживал и ухаживает здесь за всеми, от нечего делать, и громко говорит, что не хочет никого обижать невниманием, и потому завел очередь: действительно, у него волонтерство продолжается неделю. Для меня он сделал исключение и не ухаживает вовсе, за что я ему очень благодарна. Брат, который с ним воспитывался, писал мне, что в школе они его прозвали демоном. Я иногда, чтобы подразнить его, также называю демоном, в насмешку, и уверяю его, что он вовсе не так опасен. Но он никогда не обижается, и если замечание колко, то огрызнется: правду сказать, за словом в карман не ходит, и мне никогда не удавалось рассердить его. Бог знает, что у этого человека на душе, но на лице никогда ничего не прочтешь. Хоть он и уверяет, что был влюблен семнадцать раз, но мне кажется, что он никогда не любил и не может любить, и если он не опасен как демон, зато горд и самолюбив как не знаю кто.

Прощай, *ma toute cherie*! Значит, мне нечего писать тебе, когда я целое письмо проговорила о Тамарине. Когда я перечла его, так мне стало досадно, и я хотела изорвать его, но подумала, что оно тебе, может быть, пригодится, если ты с Тамариным еще не знакома. Если же знакома, то поклонись ему от меня: он всегда со мной был вежлив, – за вежливость вежливостью. Нынче лиф обшивают рюшиком, узеньким-узеньким, а на самом кончике мысочка сажают бантик.

Toute a toi Nadine.

P.S. Здесь пронесся слух, что Тамарин уехал в деревню, потому что в соседство к нему приехала какая-то баронесса Б***, из-за которой он имел историю. Пожалуйста, узнай, правда ли это, и что это была за история, и какова баронесса? Все напиши поподробнее: это меня очень интересует».

– Что вы об этом думаете? – спросила меня Варенька, когда я прочел письмо.

– Я думаю, во-первых, что Наденька сердита на Тамарина, потому что он за ней не ухаживает, хотя и заинтересована им.

Варенька улыбнулась.

– И потом, я думаю, что дурно знаю Тамарина, считая его только за доброго малого.

– Почему же это?

– А потому, что в школе его прозвали демоном. Школьные названия удивительно верны и всегда чрезвычайно обрисовывают характер.

– В самом деле? Так вы думаете, что Тамарин действительно похож на демона?

– Мне казалось, что нет, а теперь я начинаю этому верить. У нас, например, входит в училище один новичок, а товарищ мой, школьник страшный, и кричит: «Господа! Барон Брамбеус пришел». Что ж, и вышел второй Брамбеус: остряк был страшный.

– Знаете ли, Иван Васильич, мне бы хотелось увидеть Тамарина.

Мне, не знаю почему, показалось это желание неприятно.

– Полноте, Варвара Александровна! В нем и интересного ничего нет, он и на демона совсем не похож. Какой он демон!

– Вам, кажется, не хочется, чтобы я его видела, – сказала она, улыбаясь. – Уж не боитесь ли вы за меня? – И она посмотрела на меня так спокойно, так самоуверенно своими голубыми глазками, что я убедился, что никакой демон не вскружит ее голову.

– Хотя и силен демон, да он ангелу ничего не сделает, – сказал я. – Нет, я не боюсь за вас.

– Ба, Иван Васильич, это комплимент, кажется?

– Нет-с, не комплимент, это я так сказал; а вот приезжайте с маменькой в четверг к нам, чай кушать; я и Сергея Петровича позову.

– Хорошо, – сказала она. Я пробыл у Мавры Савишны весь день и поздно вечером возвратился домой.

IV

В четверг, часов в семь вечера, приехала Мавра Савишна с Варенькой, немного погодя Сергей Петрович и с ним вместе барон Б*** с женою. Марья Ивановна с баронессой познакомилась еще до моего приезда, и я тоже был у барона. Барон был человек лет 60, полный, круглый лицом, довольно важный и чрезвычайно довольный собой старичок, жена его, дама лет 23–24, высокая, худенькая, стройная и очень бледная. Лицо у нее было предоброе, но в больших черных глазах было много смелости и цинизма: эта женщина, должно быть, испытала горе, но не поддавалась ему. Кто будет глядеть на одно ее лицо, тому будет ее жалко; кто взглянет в глаза – холодно отвернется от нее.

Вечер был чудесный. Мы пили чай на террасе. Потом баронесса сказала, что она хочет посмотреть сад. Сергей Петрович подал ей руку, а мы остались. Разговор шел о цветах. Варенька просила позволения нарвать букет; я было хотел исполнить ее желание, но она сказала мне, чтобы я не беспокоился, и убежала одна.

Минут через пять она возвратилась с букетом.

– Иван Васильич, посмотрите, какой чудесный георгин я нашла у вас. Я пошел к ней навстречу.

– Мне бы хотелось, чтобы Тамарин бывал у нас, – сказала она, когда я наклонился, чтобы рассмотреть цветок.

Меня удивило это желание. Варенька была горда и никогда ни в ком не искала. Я взглянул на нее вопросительно: щеки ее горели, тихие глаза светились более обыкновенного; видно было, что ее что-то раздосадовало.

– Я скажу ему, что вы этого желаете, – сказал я.

– Как это можно!

– Так как же это сделать?

– Скажите ему от себя, посоветуйте, сделайте, как хотите. – И она это сказала тоном балованного дитяти, которое не знает «нет», когда говорит «я хочу».

Я задумался. Новых знакомств без нужды Тамарин не очень любит; советовать ему было нелегко: не таков он, чтобы послушал советов. Я был в затруднении.

– Сделаете, Иван Васильич? – сказала Варенька, и в голосе ее была такая настойчивость и просьба, она так мило и уверенно посмотрела на меня, что я ни за что на свете не захотел бы отказать ей.

– Хорошо, будьте покойны, – сказал я. Вскоре возвратились и баронесса с Тамариным.

На дворе стало темно и сыро. Подали свечи, и все перешли в гостиную.

Баронесса взяла шляпу, сделала знак мужу и, извиняясь, что у нее болит голова, уехала. Мы с Тамариным вышли ее провожать; он тоже было взялся за фуражку, но я у него отнял ее.

– Погодите, закусим, – сказал я.

– Да я никогда не ужинаю!

– Ну, уж там как хотите, а без хлеба-соли не отпущу.

Делать было нечего: он возвратился в гостиную. Я взял его за руку и подвел к Мавре Савишне.

– Сергей Петрович Тамарин, внук покойной княгини Анны Игнатьевны, – сказал я.

Тамарин, спасибо ему, не показал виду, что мое неожиданное представление его удивило. Он молча поклонился.

– Очень рада познакомиться, батюшка, очень рада! – говорила Мавра Савишна. – Я с покойной княгиней была очень дружна. Она вас очень любила и часто вспоминала о вас. «Что бы Сереже навесить меня на старости, хоть бы раз его, голубчика, увидеть!» – говаривала

покойница, дай Бог ей царство небесное; да не исполнилось ее желание. Конечно, не ваша была воля: служба не свой брат.

– Я бабушки не видел с семи лет, – сказал Сергей Петрович, – и, признаюсь, едва ее помню.

– Ну да, конечно, где ж вам помнить ее; а покойница вас очень любила.

Потом разговор перешел к добрым качествам покойницы, о которых распространялась, впрочем, только Мавра Савишна, да изредка жена ей поддакивала; потом разговор сделался общим, потом стали ужинать, а потом наконец и разъехались.

– Милости просим к нам, – сказала Тамарину Мавра Савишна, уезжая. – Мы ведь соседи и вам всегда будем рады!

– Что вам, Иван Васильич, пришла фантазия представить меня старушке? – уезжая, сказал мне Сергей Петрович, не совсем с довольным видом.

– Она ваша соседка, добрая такая, вам будет у них весело, у нее дочь – невеста, – пробормотал я.

– А мне-то что?

– Как что? Она – девушка с состоянием...

– Хм! Полтора ста душ! – сказал Тамарин.

– Конечно, состояние небольшое, зато хорошенькая!

– На всех хорошеньких не переженишься, – сказал он, садясь в коляску.

«Ну, да ты там что себе ни думай, а желание Вареньки я исполнил, и придется тебе познакомиться с ними», – думал я про себя.

И в самом деле, Тамарин был у них на другой день с визитом и даже обедал, потому что без обеда от Мавры Савишны уехать было нельзя.

А дня через три Варенька отправила письмо в город следующего содержания:

«Я его видела, мой друг, Наденька! Видела твоего демона, и ему суждено занять в этом письме, конечно, столько же места, сколько и в твоём. Ты нехотя заинтересовала меня им, и мне захотелось его видеть. Третьего дня мое желание исполнилось: я видела Тамарина у Ивана Васильича, и первое впечатление было не в его пользу. Я ожидала увидеть высокую, холодную фигуру, брюнета, с резкими чертами и черными как смоль глазами, и вдруг вижу блондина, среднего роста, стройного, вежливого, веселого, острого. Нет, не таким я воображала демона! Тамарин показался мне очень обыкновенным, но потом, взглядевшись в него, я нашла, что демон под этой личиной гораздо опаснее моего идеала. Действительно, есть что-то странное, загадочное в Тамарине, чего бы, может быть, я и не заметила, если бы не желала разгадать, за что этого молодого человека прозвали демоном. Например, заметила ли ты, когда он весел и смеется? У него смех идет не от души, он как будто смеется только наружно. Потом, эти мягкие темно-карие глаза; мне кажется, он ими может передавать мысли, хотя совсем не прибегает к этим гадким манерам, которые называются „играть глазами“. Я это заметила вот почему: у Попова была баронесса Б***, с которой Тамарин действительно, кажется, очень короток, хотя за ней совсем не ухаживает. Когда мы отпили чай, Тамарин взглянул на баронессу, холодно, как будто нечаянно; но мне показалось, что в этом взгляде была какая-то воля. И действительно, баронесса тотчас объявила, что она хочет посмотреть сад, и подала Тамарину руку. Но что всего замечательнее в нем, это грациозная медленность его движений, как будто он устал от какой-то внутренней борьбы, как будто ему лень жить на свете. Не удивляйся, та еще, что я так подробно разбираю твоего демона: во-первых, он меня заинтересовал своим названием; во-вторых, в деревне всякое лицо интересно, и, в-третьих... я изучаю его, потому что мне с ним предстоит резкая встреча, потому что он меня обидел и я хочу отомстить ему. У меня от тебя нет секретов. Вот как это было: когда Тамарин гулял по саду с баронессой, я пошла нарвать букет. Наклонясь в кустарник, я рвала цветы, как вдруг слышу в аллее за густыми

акациями голоса. Говорили баронесса и Тамарин; ни мне их, ни им меня видеть было нельзя; я невольно слушала.

– Знаешь, демон, меня пригласили сюда для тебя (она говорила ему „ты“ и тоже называла демоном; последнее меня удивило; неужели это название так идет к нему, что и в Петербурге зовут его демоном?).

– Что за идея! – сказал он.

– Да тут нет ничего странного: Попова и муж едва меня знают и, кажется, не очень любят; они хотели, чтобы тебе не было скучно, и пригласили меня; они, вероятно, знают, что я твоя принадлежность, что я тебе нужна для того, чтобы ты менее скучал. – Последние слова баронесса произнесла с какой-то холодной горечью, и мне стало жаль ее.

– Что тебе за охота мучить себя пустыми предположениями! – говорил Тамарин. – Ты знаешь, что я люблю тебя более всех.

– Да, оттого, что ты никого не любишь...

Тамарин молчал.

– Ну, не сердись! Отчего не говорить ясно о своем положении? Тебя, я знаю, оно не обманывает, зачем же мне обманывать себя.

Тамарин все молчал.

– Ты думаешь, что мне досадно это приглашение? Что за вздор! Не все ли мне равно, что думают обо мне Поповы, когда я не дорожу ничьим мнением. Напротив, я очень довольна, что тебя вижу. Мне только неприятно, что сюда привезли Вареньку!..

– Это отчего? – спросил Тамарин.

– Я не знаю, почему-то мне неприятно ее видеть. Я боюсь, чтобы она хотя на минуту не приковала тебя к себе.

– Дитя! Что за ревность! И к кому же? К семнадцатилетней деревенской девочке!..

– А она недурна, – сказала баронесса.

– Да, я люблю этот русский тип: славные русые волосы, глаза с поволокой, темно-голубые, кажется? И потом, румянец прямо деревенский; впрочем, она должна быть девочка с характером: у нее тонкие, круто загнутые брови.

– Когда ты успел так рассмотреть ее? – с досадой спросила баронесса.

– Ты знаешь, что я при первой встрече всегда обращаю внимание на выражение лица; надобно знать человека, с которым встречаешься, в особенности женщину.

– И ты узнал Вареньку?

– Да, у нее, кажется, экзальтированная головка, которую можно вскружить в неделю.

– Фат! Ты это можешь, я тебя знаю.

– К чему! – сказал он.

– Да хоть к тому, чтобы заставить страдать по себе. – Тут она закашлялась.

– Пойдем, Лидия, сыро, тебе вредно, – сказал Тамарин. И они ушли.

– Ты не поверишь, как этот разговор рассердил меня! Я деревенская девочка, с экзальтированной головкой, которую можно вскружить в неделю! Я, которая две зимы не знала, что делать с поклонниками, и ни одного из них не любила! Не слишком ли много вы берете на себя, mr. Тамарин? Посмотрим, кто кому вскружит голову: деревенская ли девочка победоносному демону, или он ей! Возвращаясь в комнаты, у меня явилось ужасное желание отомстить Тамарину: в эту минуту я его ненавидела, как и ты. Я сделала так, что он с нами познакомился и вчера целый день пробыл у нас. У него оригинальный ум и взгляд на вещи; я очень весело провела с ним время и, признаюсь, была с ним любезнее, чем с кем-нибудь. Ты не поверишь, как мне хочется отомстить ему. Матап взяла с него слово, что он будет бывать у нас.

Володя бывает у нас почти каждый день и по-прежнему вздыхает обо мне. *Toute a toi. Barbe*».

V

Дни шли за днями, и немного прошло дней, а много изменили они Вареньку. Тамарин чаще начал бывать у них. В тихие, темные июньские вечера долго хаживал он с ней по тенистому саду, и речь их была оживлена и непрерывна, и добрая Мавра Савишна, сидя на террасе с вечным чулком, с любовью смотрела на свою Вареньку. О чем была их речь, не знаю; но говорил и правил ею большею частью Тамарин. Мало-помалу он терял свой официальный, всегда холодно-вежливый характер, он становился разнообразнее, нецеремоннее и натуральнее. Иногда он был весел и оживлен, бойко и резко шел острый разговор, и звонкий смех Вареньки долетал до слуха Мавры Савишны, и Мавра Савишна была тоже весела и довольна. Чаще Тамарин был холоден и грустен; тихо звучала его спокойная и долгая речь, и Варенька становилась задумчивее и грустнее. Румянец бледнел на ее розовых щеках, и пристально смотрела она своими большими темными глазами в бледное лицо Тамарина, как будто хотела вычитать на нем всю грустную повесть его прошедшей жизни, спуститься в темную глубину души, в которой рождалась и из которой текла эта охлажденная, отравленная горьким опытом речь. И Мавра Савишна была тогда тоже скучна и беспокойна и часто спрашивала:

– Здорова ли ты, моя Варенька?

В этот период Варенька писала своей подруге:

«Какую страшную игру затеяла я, мой добрый друг, Наденька! В какой неравный бой вступила я, как много понадеялась на свои детские силы! Я хотела вскружить голову Тамарину! Я, ребенок, не начинавший жить, я, деревенская девочка, знающая страсти по романам, хотела вскружить эту голову, выдержавшую не одну бурю, хотела играть сердцем, выстрадавшим грустную твердость, горькое право ни отчего не биться!

Нет, Наденька, не знаешь ты этого человека; мое маленькое кокетство, деревенская жизнь, а более желание поближе взглянуть на этот загадочный характер сблизили меня с ним, и я много узнала его, хотя почти совсем его не знаю, – так он разнообразен, так нов, так велик! Нет, Наденька, ты не знаешь Тамарина. Посмотрела бы ты на него, если бы он перед тобой, как передо мною, приподнял свою холодную, равнодушную маску, дал взглянуть на себя так, как он есть!

Мне страшно, Наденька! Я отказалась давно от своей нелепой, самонадеянной идеи, но я узнала Тамарина, я увидела в глаза этого демона, не того тебе знакомого демона гостиней, равнодушного эгоиста, который убивает сарказмом все, в чем есть тень смешного, и который во всем, если захочет, найдет это смешное, – нет, гордого, мощного демона, который ведет страшную борьбу за свое самолюбие и, побежденный, вышел из битвы с полным сознанием своей силы! Вот демон, которого увидела я, который высказался мне в наших частых беседах и которого я боюсь, потому что какая-то обаятельная сила влечет меня к нему! Теперь я веду другую борьбу: я уже не нападаю, а только защищаюсь... что, если я полюблю его? что, если он не полюбит? Он никогда не говорит мне о своей любви! Может быть, он уже не в состоянии любить!

Наденька, что тогда будет со мной?»

День ото дня Варенька становилась грустнее и задумчивее; характер у нее сделался неровный, часто бледненькая вставала она поутру и боялась новой встречи, и рада была, когда приезжал к ним Тамарин.

– Нет ли писем с почты? – утомленная, нетерпеливо спрашивала она, когда посланный возвращался из города, и ждала ответа от своей Наденьки, чтобы в нем почерпнуть новые силы. Но ответа не было. Тамарин тоже наедине с Варенькой (при Мавре Савишне он был всегда одинаков) бывал часто как будто скучен, как будто недоволен. Раз он приехал к ним вечером,

бледнее обыкновенного, и на его лице выражалось что-то вроде подавленной грусти. Варенька тотчас заметила это. По обыкновению, Тамарин подал ей руку, и они пошли в сад.

– Что с вами? – спросила Варенька, как только они остались одни.

– Мне сегодня грустно, – отвечал Тамарин. – Скучаю я много; но грусть давно не испытывал, и она тем больше, что я отвык уже от нее.

– Отчего же это? Не расстроила ли вас баронесса? – наивно спросила Варенька, не зная, от участия или с досады.

– Оставьте ее, – сказал он. – Когда-то была она мне дорога, – теперь я ей многим обязан; но она для меня как и все, я только могу быть благодарен ей.

– Благодарным за любовь? Ведь она вас любит! Разве за любовь можно платить благодарностью?

– Что ж мне делать, – сказал он. – Ее любовь не из тех, которые возбуждают взаимность. Может быть, я слишком самолюбив, но я не люблю, когда это чувство уже достается поношенным. Мужчина может любить несколько раз – его любовь не профанируется этим. Женская любовь должна быть чиста и невинна, как сама женщина; она только имеет высокую цену раз в жизни – в первый раз! Оттого-то мне и грустно, что я не испытал этой любви.

– А независимость, которую вы так любите? Если за эту любовь вам придется заплатить своей независимостью?

– Что это за любовь, которую покупают? – спросил Тамарин. – Разве можно купить истинную любовь и разве может существовать любовь, когда есть обязанность любить? Вам, может быть, покажется смешно, что человек, испытавший жизнь, сохранил еще детскую веру в возможность чистого свободного чувства. Я вас не стану уверять в этом; но сознаюсь, что Бог весть каким случаем во мне еще осталось убеждение в этой возможности, – может быть, оттого, что это была первая самая счастливая мечта моей юности, которая, вероятно, не сбудется, как и все слишком обольстительные мечты. По крайней мере до сих пор она не осуществилась. Меня никто не любил этой любовью, которая не выпрашивается волокитством, не возбуждается насильственно романтическими чувствами, театральными положениями. Подобная любовь приходит сама по себе, не рассуждает, кончится ли она, как в нравственных повестях, законным браком, не будет ли предосудительна в глазах света. Любовь, которая рассуждает, уже не любовь. Эта любовь дается немногим; этой любовью любят человека со всеми его недостатками, слабостями, пороками, любят его наперекор рассудку, свету, приличиям: отдаются ему, как дитя отдается матери, без мысли, что он может употребить во зло доверенность, думая даже, что зло от него есть уже добро. Вот любовь, о которой я мечтал и в которую верил. Но когда пройдешь полжизни, пройдешь просто куда ведет судьба, не драпируясь ни в какие чувства, не становясь ни на какие ходули, называя в глаза всякую вещь ее именем, и когда на всем пути не встретишь ни одного существа, которое бы всмотрелось в тебя и потом прямо подало руку и сказала: «Я люблю тебя», – тогда рождается горькое убеждение, что не стоишь ты этого чувства, что самолюбие обмануло тебя, что не выходишь ты на палец выше этой дюжины, которая идет вместе с тобою, шныряет по сторонам да выпрашивает и вымаливает так называемую любовь, как татарин с козой и медведем медный грош у русского мужика!

Тамарин остановился и закашлялся: мне кажется, желчь душила его. Он опустил руку Вареньки, сел на скамью, закинул голову назад, прислонив ее к дереву, и рассеянно смотрел на Вареньку. На лице его не было ни грусти, ни злости – это было бледное и спокойное лицо человека, который показывает доктору свою свежую рану и хладнокровно говорит: «Она смертельна». Странное влияние произвели на Вареньку эти слова, в которых было так много грусти и желчи. Ей было жаль Тамарина, грустно и больно за него. Ей казалось, что справедлив был этот ропот на судьбу уязвленного самолюбия, что Тамарин стоит той высокой любви, о которой говорил он. Ей было досадно, что никто не оценил этого человека; она возмущалась за него против судьбы, и сильнее прежнего какая-то неведомая ей сила влекла ее к Тамарину. И доб-

рая Варенька стояла перед ним как добрый дух над умирающим грешником. Страшная борьба совершалась в ней. Все ее детское самолюбие, вся логика чистого ума, вся женская, в первый раз потрясенная гордость восстали, боролись и гнулись под демоническим влиянием этого человека. Это была битва насмерть, которая, как в зеркале, отражалась на лице ее. Варенька была то бледна, то румяна; крупные слезы дрожали на длинных ресницах; она стояла молча, без движения, без мысли, как будто ждала, чем кончится эта битва, хотя сама не сознавалась, что так волнует и теснит ее грудь. Не знаю, чем бы кончилась эта немая сцена, если бы Тамарин не заметил наконец положения Вареньки.

– Что с вами? – спросил он ее.

Но Варенька не могла отвечать: при первом звуке его голоса слезы брызнули у нее из глаз, она закрыла лицо обеими руками и убежала.

Тамарин прошел раза два по аллее, зашел на пять минут к Мавре Савишне и уехал очень довольный собою.

VI

Было уже поздно, когда Тамарин, верхом на своем Джальме, возвратился домой. Бросив лошадь у крыльца, он вошел в кабинет, разделся, закурил папиросу и сел в кресла, закинув, по обыкновению, назад свою голову.

В доме была мертвая тишина, дворовые люди все спали, один только камердинер дремал в прихожей. На дворе было так же тихо, как и в доме. Это была теплая, безлунная июньская ночь, с яркими звездами на темном небе, полная тишины, аромата и поэзии.

Дверь в сад была открыта, но огонь не дрожал на свечках: так покоен был воздух. Тамарин сидел и думал. О чем он думал, Бог ведает: это лицо так привыкло не выдавать тайных дум, что и наедине, как в гостиной, оно было, по привычке, холодно, спокойно и безмолвно. Только в больших темных глазах было выражение. Это не было выражение мелочного самодовольства, удовлетворенного самолюбия. Нет, в них было гордое выражение человека, сознавшего собственную силу, что-то похожее на благородное торжество оскорбленного самолюбия, которому отдали должную справедливость. Светло и гордо смотрели эти темные глаза, и странно было их выражение, полное жизни на холодном, спокойном лице, в пустой, полуосвещенной комнате.

Какие мысли проходили тогда в голове Тамарина, какими существами воображение его наполняло окружающую его пустоту, на кого смотрел он этим гордым светлым взглядом? Рисовалась ли перед ним стройная фигура чистого, девственного существа, которое, забыв и женскую гордость, и оскорбленное самолюбие, рыдая прощается со своей свободой и отдает всю силу первой любви своего непорочного сердца, всю гордую, не знавшую принуждения волю ему, Тамарину, которого Варенька почти не знает, который не выстрадал права на ее любовь, который даже мимоходом не сказал ей, что он ее любит, что он будет любить ее, что он оценит всю великость незаслуженного дара, не употребит во зло своей некупленной власти? Или перед его внутренними очами рисовалась другая картина – картина его прошедшей, неведомой нам жизни, должно быть, бурной и обильной происшествиями жизни, в которой выработался этот твердый, холодный характер, выдержался мощный ум, – жизни, которая должна была разбить его и из которой он вынес новые силы?

Бог ведает, о чем думал Сергей Петрович! Чужая душа потемки. Долго сидел он так, погруженный в свои думы, и уже докуривал одну за другой третью папироску; свечи нагорели; было около полуночи; вдруг ему послышался шорох. В темной глубине аллеи сквозь растворенную дверь видел он женскую фигуру в белом платье, которая двигалась, поднимаясь в гору, ближе, ближе, и вот она на пороге, и свет ярко обрисовал ее на темном фоне полночного неба.

– Баронесса! – сказал Тамарин, вскочив и подавая ей руку. – Лидия!

Она молча оперлась на его руку, опустилась в оставленное им кресло и, бледная от усталости и волнения, несколько минут сидела молча, с трудом переводя дыхание.

Она была в эту минуту очень хороша. На ней был белый распашной капот, на голове легонький спальный чепец, из-под которого выбивались небрежно подобранные локоны; лицо было страшно бледно, и от этого еще резче обозначались прозрачные синенькие жилки на висках, ярче горели под длинными ресницами большие черные как смоль глаза. Тамарин молча стоял перед нею, держал в руках ее холодную руку и спокойно ждал упреков.

– Вы несколько дней не были у нас, Тамарин, вы нас забыли, и я пришла проведать вас, здоровы ли вы, – сказала наконец баронесса, подняв глаза на Тамарина. Видно было, что она хотела начать холодным упреком, но в голосе ее была такая болезненная жалоба, упрек был высказан так робко, что он должен был дойти до души человека, у которого только есть душа.

Тамарину стало жаль баронессу. Эта женщина в свое время наделала ему много зла, но она много его любила, и он много простил ей; она так много его любила, что ему наконец нечего уже было прощать ей, и он считал себя ее должником. И вот эта женщина, у которой он не был

только несколько дней, которую он забыл на это время для другой, потому что другая была новее и поэтому более развлекала его скучающий ум, – эта женщина, одна, в полночь, приходит к нему и еще раз рискует бесполезно жертвовать добрым именем, семейным спокойствием для того только, чтобы увидеть его и, может быть, выслушать холодное наставление. Лицо Тамарина изменилось, как будто маска спала с него, – из холодного и спокойного оно сделалось добрым и впечатлительным; он взял с дивана шитую подушку, бросил ее на пол и сел у ног баронессы.

– Мы сегодня будем на «вы», Лидия? – спросил он ее, глядя на нее приветливыми, ласкающими глазами.

Баронесса не выдержала этого взгляда. В нем было чувство, а она не ожидала найти его. Вся ее холодность растаяла от бедной теплоты этого чувства: она заплакала.

– Тамарин! Что ты со мной делаешь? за что ты меня бросаешь для этой девочки? разве ты любишь ее? – спросила она, и Тамарину было слышно, как сердце билось у ней в груди.

– Нет, – сказал он.

– Право? Тамарин задумался.

– Говори, Бога ради, говори!

– Нет, не люблю, – сказал он.

Баронесса вздохнула свободно: вся кровь, которая прилилась и держалась у ее сердца, отступила от него, и легкий румянец заиграл на щеках.

– Не любишь?.. Я тебе верю: ты никогда, никогда не обманываешь! Зачем же ты забыл меня? Ведь ты три дня не был у нас! Ведь ты не можешь представить себе, что я выстрадала в эти дни! Я уже думала, что ты полюбил Вареньку. Теперь я знаю, тебе с ней было веселее: верно, она полюбила тебя или еще боится тебя любить. Все равно, она тебя полюбит: тебя нельзя не любить, если ты этого захочешь; у тебя столько ума, столько странной привлекательности, что я тебя знаю три года, и ты для меня все нов, как тогда, помнишь, как в первый раз ты со своей насмешкой и равнодушием явился между моими поклонниками!

Она наклонилась к Тамарину, одной рукой обняла его шею, а другой играла его мягкими светло-русыми волосами.

– Послушай, ты знаешь, как я люблю тебя: я тебя люблю, несмотря на то, что ты меня не любишь. Бог знает, чем ты умел привязать меня к себе! Нет вещи, которой бы я для тебя не сделала, нет жертвы, которой бы не принесла тебе. За все это ты мне никогда ничего не дал, кроме страданий, и я не ропщу на тебя, ты от меня не слышал ни одного упрека, да ты и не виноват ни в чем: ты уже так создан. Но теперь, раз, в первый раз в жизни, у меня есть к тебе просьба. Выполнишь ее?

Баронесса еще ближе наклонилась к Тамарину; локоны ее доставали ему до лица; она опрокинула несколько назад его голову и смотрела ему прямо в глаза умоляющими глазами. Тамарин улыбнулся.

– Тебе хочется, чтобы я отказался от Вареньки?

– Да! – сказала баронесса робко.

– Дитя! Не все ли тебе равно, любит ли она меня, или не любит? Я не люблю ее и не буду любить, потому что для этого надо жертвовать тобой, а тобой я не пожертвую ни для кого на свете. Ты это знаешь. Да и вряд ли я уж могу любить. Что ж тебе до Вареньки?

– Нет! Бога ради, оставь ее, я тебя умоляю всем, что тебе дорого! Я умоляю тебя об этом для тебя же. Когда я в первый раз увидела ее, у меня стеснилось сердце от какого-то дурного предчувствия; мне кажется, что она должна обеим нам принести несчастье. Да и что тебе в ее любви? Разве она сможет любить тебя, как я, разве у нее на это достанет сил? Ведь твоя любовь тяжела: ее не всякая выдержит! И потом, она не выстрадала права на эту любовь, она не поймет, как надо любить тебя: она возмутится против твоего деспотизма. И потом, знаешь ли, мне жаль ее. Подумай, что с ней будет! Она горда: у ней, ты сам сказал, много характера. Если

она восстанет против тебя, она разобьется о твою железную волю; если она не устоит, я знаю, ты благороден, ты не употребишь во зло ее доверенность... но есть жертвы более материальной жертвы, которую может принести девушка: жертва спокойствием жизни, волей, отречением от всего, что не ты... и это ждет ее. Разве тебе мало одной меня?

Она сказала это слово просто, без упрека, без жалобы: как будто так и следовало быть ей его жертвой, как будто так ей и на роду уж было написано! Но много в этих словах было любви и просьбы – и не в одних словах: в ее взгляде, положении, наконец, в ее жарком и прерывистом дыхании, которое чувствовал Тамарин на своем лице.

Тамарин молчал: очевидно было, что какие-то разнородные мысли боролись в его уме. Потом он посмотрел на баронессу и сказал:

– Хорошо, завтра...

Она не дала закончить последние слова и заглушила их поцелуями.

Было уже поздно, так поздно, что становилось рано, когда Тамарин под руку с баронессой спускались под гору по аллее; он пошел проводить ее до дому. На небе еще не начинало светать, но это было то темное утро, которое предшествует рассвету. Она, закутанная в турецкую шаль, шла медленно, прижавшись к руке Тамарина, как будто ей не хотелось расстаться с ним. Он шел тихо, своей ленивой походкой, как человек, который взял все наслаждения сегодня и которого ждет неприятное завтра.

VII

Варенька встала поздно. Бедненькая, она не спала почти всю ночь. Страшно ей было одной мысли – любить Тамарина: она чувствовала, что природа дала ей любви только на один раз и что за то велика должна быть эта единственная любовь. Она недавно еще заметила возможность любви, но ей уже было жаль отдать ее, расстаться с сокровищем, которым только может располагать раз в жизни. Еще страшнее ей было отказаться от любви к Тамарину. Ей казалось, что никогда она не встретит столько же богатой, прекрасной натуры, что никто, кроме него, не будет достоин ее сокровища, что умрет без него ее любовь, как бесполезный дар, как зарытые в землю деньги скупого. И долго совершалась в ней внутренняя борьба. Несколько раз она собирала все силы воли и убеждений рассудка, чтобы защитить себя от рождающейся любви; и несколько раз и воля и убеждения ума раздроблялись об прихоти сердца, которое билось под влиянием Тамарина.

К утру она уснула, но и во сне, как наяву, ей слышалась тихая обворожительная речь, виделся знакомый милый образ.

Она встала, как я сказал, уже поздно, со всем тем она чувствовала какую-то болезненную томность и вместе приятную теплоту. Никогда она не была так интересна. Щеки ее были бледнее обыкновенного, темно-голубые глаза – томны, усталы, как после борьбы. Но борьбы в них уже не было.

Горничная подала Вареньке письмо, оно было от Наденьки; с любопытством, но без нетерпения Варенька распечатала его и читала:

«Ты ли это писала ко мне, Варенька? Ты ли, гордая, неприступная, боишься человека, который хвастался, что он вскружит тебе голову? Что ж он в самом деле за демон, что успел до такой степени приобрести над тобой влияние? Чем он околдовал тебя? Как ты не видишь, что все в этом человеке ложь? Он со своей баронессой просто хотели посмеяться над тобой, а ты ему веришь. Ты была предупреждена его хвастовством и допускаешь обманывать, себя. Как ты не расхохоталась ему в глаза при первой его сентиментальной фразе! Я знаю, Тамарин мастерски притворяется. У него лицо необыкновенно послушно. Оно или ничего не выражает, или выражает то, что он хочет. Оно будет расстроено, спокойно, бледно, весело – наперекор тому, что он чувствует. Знаешь ли, до какой степени он владеет собою? Здесь были проездом два петербургских актера. Мы были в театре, в бенуаре; он в креслах, возле нашей ложи. Давали „Отелло“ и играли прекрасно: у всех были слезы на глазах – он сидел очень веселый. „Вам не нравится игра?“ – спросила я его в антракте. „Напротив, – отвечал он, – пьеса шла удивительно хорошо для провинциального театра“. „Не заметно, – сказала я, – чтобы она вас расстроила“. Он рассмеялся. После этого давали водевиль. В самой уморительной сцене, когда хохотал весь театр, он, бледный, расстроенный, со слезами на глазах обратился ко мне. „Что с вами?“ – спросила я его. „Я вам хотел доказать, что умею быть чувствительным“, – отвечал он и засмеялся. Вот в чем сила твоего демона, который для самолюбия, из эгоизма готов сделать все на свете. Теперь я спокойна: я уверена, что ты другими глазами взглянешь на него и сама над ним посмеешься. Насмейся над ним, хорошенько насмейся, как ты можешь смеяться, если бы тебе не мешало твое доброе сердечко. Этого человека не стоит жалеть. Варенька, друг мой, одурачь его хорошенько. Прощай.

Toute a toi. Nadine.

P.S. Володя Имшин опять здесь. Как тебе не жалко этого мальчика? Он тебя истинно любит. Он говорил мне, что ты все занята Тамариным, а на него не обращаешь внимания, и что от этого он уехал. Лучше бы ты сделала, если бы слушала Володю; если он не говорит так хорошо и занимательно, как Тамарин, зато он говорит, что чувствует; а истинное чувство по мне лучше красивых ложных фраз».

Варенька прочла письмо, задумалась и сказала: «Поздно!» Потом она посмотрелась в зеркало, увидела свое бледное и интересное личико, так изменившееся в одну ночь, и грустно улыbnулась. Потом сошла вниз к матери, села под окошко и думала: «За что Наденька не любит моего Тамарина?», а сама смотрела на дорогу и слушала, не раздастся ли топот знакомого коня.

Не знаю, действительно ли Тамарин в этот день приехал позже обыкновенного, или время в первый раз в жизни казалось нестерпимо длинно нетерпеливой Вареньке, только ей казалось, что она уже целый век в раздумье просидела у отворенного окна, когда вдали, верхом на сером Джальме, показался Тамарин. Он ехал медленной рысью; видно было, что он не торопился к своей Вареньке, которая ждала его с таким нетерпением. Да и зачем было ему торопиться? Убить только что зародившуюся первую любовь? Дать горя, может быть, на полжизни, не дав ни одной радости? Оттолкнуть от себя чистую неопытную девочку, в то время когда она с краской на лице, с замирающим сердцем, готова сказать первое «люблю». Он еще успеет это сделать; еще рано, еще до обеда у баронессы Сергею Петровичу остается два часа.

Когда Варенька увидела вдали знакомого ей серого коня, она вспыхнула, отодвинулась от окошка, села за рояль и начала перебирать первые попавшиеся ноты. Вскоре собачка Мавры Савишны залаяла, отворилась дверь, и вошел Сергей Петрович.

Он был как и всегда: одет прекрасно. То же бледное холодное лицо, с большими темными глазами и волнистыми черными усиками, та же насмешливо-веселая улыбка на устах, та же простота и грациозность в ленивой походке и движениях, которые делали его типом *du comme faut*.

Ни тени беспокойства, ни тени думы на спокойном челе, как будто бы он приехал на именинный обед.

Сергей Петрович поклонился Вареньке, сказал ей две-три пустые фразы и перешел в другую комнату, к Мавре Савишне. Мавра Савишна приподняла очки и ласково приветствовала Сергея Петровича. Потом он подсел к ней, спросил о здоровье, а она поблагодарила и спросила, началось ли у него жнитво, и зашел разговор о хозяйстве. Мавра Савишна входила во все подробности и тонкости его; Сергей Петрович отвечал общими местами, но так твердо и уверенно, как будто весь век просидел на запашке. Так прошло с четверть часа. И вдруг между фразой «60 снопов с десятины и умолот сам-сем» зазвучал виртовский рояль, и из другой комнаты послышалась песня Вареньки. Мавра Савишна не dokonчила фразы и опустила чулок: она не узнала голоса Вареньки! В нем была такая полнота звуков, такая сила, такой грустный и вырвавшийся из души плач, какого она никогда не слыхала. И странна показалась ей эта перемена в голосе дочери, безотчетно забилося сильнее обыкновенного ее любящее материнское сердце, и опустила она чулок, и не окончила фразы, и задумалась Мавра Савишна, слушая песню своей Вареньки. Заметил эту перемену и Сергей Петрович, но он не задумался, и сердце его не забилося сильнее обыкновенного. Он знал, что для него поется эта песня, и слушал ее с вниманием дилетанта, который после доброго обеда сидит очень комфортно в итальянской опере и знает, что для него поют и Виардо, и Рубини, потому что он заплатил за это 8 рублей серебром. Однако под конец и он как будто задумался: едва заметная морщина темной, отвесной чертой обрисовалась между бровей на бледном лбу; но это продолжалось недолго. Голос смолк, Тамарин встал, встряхнул светлыми кудрями и как будто этим движением сбросил темную думу. Веселый и спокойный, он подошел к Вареньке.

– Вы сегодня особенно в голосе, Варвара Александровна: вы пели так хорошо, так хорошо, что мне невольно пришла в голову нескромная догадка.

– Интересно было узнать, что это за догадка? – спросила Варенька.

– Я вас предупредил, что она нескромна.

– Все равно, посмотрим; я любопытна, как мужчина...

– И хотите, чтоб я был болтлив, как женщина.

– Благодарю за комплимент; однако ж ваша догадка?

– Я думаю, что так петь, как вы сегодня пели, может только та, которая любит.

Варенька два раза изменилась в лице.

– Так вы думаете, что я влюблена? – сказала она, смеясь.

– Почти убежден – отвечал Тамарин.

– В кого же, например?

– Да хоть бы в Володю Имшина.

Вместо ответа Варенька улыбнулась насмешливо, выдвинув вперед нижнюю губку.

– Если эта улыбка чистосердечна, так я не хотел бы быть на месте Имшина, а между тем он не заслужил ее, – сказал Тамарин.

– Давно ли вы к нему так расположены?

– Не столько к нему, сколько к вам.

– Объясните, пожалуйста: это что-то не совсем ясно.

– С удовольствием, но это немного походит на наставление, и крайне неблагодарно платить этим за ваше пение.

– Хоть я и не совсем люблю наставления, но думаю, что мое пение не стоит большой платы; объясните же.

– Вот видите ли, в природе уж так заведено, что по крайней мере раз в жизни, а случается и больше, мы непременно должны любить.

– Почему ж и непременно?

– Да хоть потому, что любовь есть жизнь сердца; а как человек, чтобы жить вполне, должен жить и умом и сердцем, следовательно, он должен любить. Не правда ли, что это ясно?

Варенька вполне была бы убеждена и без силлогизмов, потому что сердце ее сильно билось в груди; она догадывалась, что разговор идет к какой-то цели, и с тайной надеждой слушала Тамарина; только странен и неприятен казался ей тон его разговора.

– Очень ясно, дело идет об Имшине, – сказала Варенька.

– Да, или, точнее, о вас. Раз в жизни – если вы еще никого не любили, то вам придется любить, и для вашего счастья я желал бы, чтобы вы полюбили Володю.

– Отчего же именно его?

– Оттого, что он простой и добрый малый: от жизни и любви он требует немногого. Я завидую людям, созданным, как он. Он вас любит и будет любить просто, без претензий, без тяжелых требований. Вы во всем выше его и потому сохраните над ним больше влияния. В любви, как и в дружбе, один непременно раб другого. Поэтому если можно выбирать, так лучше быть господином, чем слугой. Вы его тоже полюбите, потому что его не за что не любить, будете счастливы, женитесь, а меня возьмете в шаферы.

Вареньке было досадно, а между тем она невольно улыбнулась: ей вспомнилось письмо Наденьки, в котором она заступалась за Володю.

– Знаете ли, мр. Тамарин, что не вы одни хлопчете за Имшина: я недавно получила письмо, в котором мне дают почти такие же советы.

– Не от вашей ли подруги Надежды Васильевны?

– Вы угадали.

– Очень рад, что хоть раз в жизни сошелся с ней во мнениях; но я говорю серьезно, отчего вам не любить Володи?

– Хорошо, и я вам буду отвечать серьезно. Разве можно заставить себя любить кого-нибудь? Да и за что же любить Имшина?

– Любовь – привычка; поверьте, можно любить каждого, нужно только немного доброй воли. За что, вы спрашиваете. За то, что у него доброе, неиспорченное сердце; за то, что он очень недурен собой и любит вас, как только умеет любить.

– Должно сознаться, огромные права! – сказала Варенька с досадой. – Послушайте, я буду с вами говорить откровенно, хотя вы, может быть, этого и не стоите, потому что сейчас

высказали обидное мнение обо мне. Неужели вы думаете, что я так мало ценю свою любовь, что брошу ее первому влюбленному мальчику за то, что у него розовые щеки да доброе сердце? Вы ошибаетесь, гг. Тамарин, если думаете, что я так низко ценю себя.

Если я полюблю кого-нибудь, так полюблю человека, а не хорошенького мальчика, человека, который бы стоил моей любви и знал ей цену, точно так же, как знал бы цену и себе, – человека, которому бы свет и люди известны были не понаслышке и который бы понимал, что любовь иной деревенской девочки может быть и глубока, и сильна!

Щеки Вареньки покраснелись, голос дрожал, и на глазах готовы были навернуться слезы от грусти и досады. Она была хороша до того, что я бы упал перед ней на колени, а Сергею Петровичу хотелось улыбнуться. Слова Вареньки хоть не были согласны с его желанием, но они ему тайно льстили: в них он уже видел свое влияние, а в последнем намеке прочел более любви и досады, чем правды. Но вместо улыбки лицо его сделалось грустнее.

– Вы меня не поняли, Варвара Александровна, и нашли обидный смысл в словах, которые были высказаны из желания добра, из искреннего желания добра. Кто вам говорит, что вы не стоите человека и с глубоким умом, и с высокой душой, – человека, который и жил, и страдал, и, как вы говорите, знал бы цену себе? Я не сомневаюсь, вы достойны такого человека и сумели бы любить его. Но знаете ли, каков этот человек? Он с умом, с душой и знает себе цену, а следовательно, он уже горд, самолюбив; видел свет и людей не в одних романах: этого слишком достаточно, чтобы быть эгоистом; жил и страдал – значит, много, много утратил и живых сил, и теплых верований, и светлых надежд. Нет, Варвара Александровна, верьте мне, не ищите подобных людей: они далеко выходят из дюжины и посредственности; раз сойдясь с ними, вам Имшины покажутся мелки и ничтожны; но тяжела встреч; подобными людьми! Для них созданы женщины светские, которые любят по мерке, владеют и своей мыслью и своими чувствами, или другие женщины, как они же, выстрадавшие опытность, закаленные в горе, для которых не ново никакое страдание, которые не разобьются ни от какого столкновения. Любовь этих людей – тирания; требования невыносимы: они не дадут вам ничего, кроме страданий. Верьте мне, Варвара Александровна, умейте довольствоваться немногим, и вы будете счастливы; если же вы встретите подобного человека, отвернитесь от него, пока есть время, и трижды отрекитесь от всякого к нему чувства!

Трудно передать, что в это время было с Варенькой; она чувствовала, что в словах Тамарина много правды, но не они пугали ее; ее пугала цель этих слов; она смутно догадывалась, что Тамарин готовится к чему-то недоброму; мучительное сомнение тяготило ее; она решила скорее выйти из него – к чему бы то ни было и обратилась к Тамарину.

– Послушайте, – сказала она, – в ваших словах много правды, но они ничего не доказывают: одна любовь мало требует и мало дает, другая требует много, зато и дает много. Скажите же прямо, к чему вы мне говорили все это?

И Варенька пристально смотрела в глаза Тамарина, как будто в них хотела вычитать его тайную мысль; но глаза его ничего не высказывали.

– Я желаю вам добра и счастья и хотел только предупредить вас, – сказал он.

– В любви, я думаю, есть одно самое страшное несчастье – когда ее не разделяют, – сказала Варенька не подумавши. – Если бы я встретила человека, выходящего из толпы, – человека, который и жил и страдал и уже устал от этой жизни, как вы думаете, мог ли бы он полюбить меня?

Варенька старалась высказать этот вопрос шутя, как ничего не значащую фразу; губы ее улыбались, но они были бледны; она рассеянно смотрела на Тамарина, но, сделав вопрос, сама испугалась его. Ей до сих пор не приходило на мысль, что Тамарин может не любить ее. Ей казалось, что Тамарин искал ее любви, он давно уверял ее, что не любит баронессу, что никого не любит, она ему верила и боялась только своей любви, а никак не его равнодушия. Но предыдущий разговор смутил ее; сомнение уже запало в ее душу, и вдруг ее поразила мысль:

что, если Тамарин откажется почему-либо от ее любви? Что, если он скажет, что не любит ее, что не может ее любить? И Варенька, как приговоренная, ждала ответа, а между тем бледное личико ее улыбалось и рука рассеянно перебирала клавиши.

Неприятно было положение и Сергея Петровича: что ни говорите, а отказаться от любви молоденькой, хорошенькой девочки, особенно в то время, когда никем не занят, зная, что этим разобьешь ее первые мечты, принесешь много, много горя, должно быть невесело. Впрочем, не знаю! Со мной подобных вещей не бывало. Но думаю невесело, потому что и Сергей Петрович задумался; в другое время он бы отделался какой-нибудь двусмысленной фразой или обиняком, но тут другое дело: он дал слово баронессе отказаться от Вареньки и должен был сдержать его. Впрочем, Сергей Петрович думал недолго; это было не его характере.

– Если бы вы встретили подобного человека, – сказал Тамарин, – он бы вас не полюбил.

– Отчего же это? – робко спросила Варенька. В это время дверь отворилась, и ваш покорнейший слуга своим приездом нечаянно прервал их разговор.

По утру мне вздумалось побывать у Сергея Петровича; его я не застал дома и проехал к Мавре Савишне. Я еще тогда ничего не знал, что творится вокруг меня, и в невинности души не думал; что приехал не вовремя. Но, видно, мне было на роду написано играть роль в этой грустной комедии. У меня Варенька видела в первый раз Тамарина, я познакомил его с ними, и я должен был еще раз олицетворить собою тот случай, который всегда является неожиданно в пятом акте драмы, для развязки.

Я поздоровался с Варенькой, но ее бледное, взволнованное личико поразило меня.

– Что с вами, Варвара Александровна? – спросил я. – Вы сегодня ужасно бледны.

– У меня с утра болит голова, – отвечала она, – ничего, это пройдет.

Я догадался, что творится что-то недоброе для моей Вареньки, и с невольным упреком посмотрел на Сергея Петровича. Он в это время закуривал папироску и с обыкновенной флегмой протянул мне свою маленькую руку.

– Здравствуйте, Иван Васильич! Откуда вы?

– Я был у вас сейчас.

– Жалею, что сделали напрасный визит.

– Не совсем напрасный! – отвечал я. – При мне привезли вам письмо из Лункина, и я взялся его доставить.

При этом я вынул из кармана письмо и отдал его Сергею Петровичу.

Письмо было от баронессы: я узнал его по почерку и облатке и нарочно взял с собой, чтобы отдать при Вареньке: мне казалось, что Тамарин обманывал ее, скрывая свои сношения с баронессой, и я хотел его вывести на свежую воду. Но письмо произвело эффект только на Вареньку: она вспыхнула как румяная заря; а Сергей Петрович посмотрел на адрес, попросил позволения прочесть и отошел в сторону...

Я смекнул, что дело не обойдется без объяснений, и ушел поскорее к Мавре Савишне.

VIII

Сергей Петрович распечатал конверт и вынул два почтовых листа, кругом исписанные; он нашел не простую записку, как он мог думать, а огромное письмо. А это ему, кажется, не понравилось, потому что на его гладком лбу пробежала отвесная морщина – единственный признак недовольствия или думы. При шелесте развернутой бумаги Варенька невольно взглянула на письмо: оно было исписано вдоль и поперек, как пишут только женщины; почерк тонкий, бумага как батист, которая может разорваться от одного прикосновения мужского пера. Она сообразила все это в мгновение и не могла остаться долее в комнате; ей стало душно. Она отворила дверь на террасу и вышла в сад. Тамарин читал:

«Мои предчувствия сбылись: любовь этой девочки принесла мне несчастье. Я погибла, Тамарин, погибла, потому что расстаюсь с тобой, быть может навсегда! Муж мой узнал все; он везет меня. Вокруг меня увязывают вещи, готовят экипаж люди не понимают причины отъезда и ходят как растерянные; барон бранит их. Но какое мне до них дело! Я сказала, что лягу спать, заперлась на ключ и пишу к тебе. Голова моя кружится, а мне надо сказать тебе многое, многое; это, быть может, мое последнее письмо; Бог знает, увидимся ли мы еще!

Тяжело припоминать то, что лежит пятном на совести, что хотелось бы забыть навек: но я все, все припомню пред долгой, а может быть, и вечной разлукой. Не знаю, анализировал ли ты себя, следил ли за странным переворотом, который совершился в тебе, или тебе было лень заняться собою и ты к себе охладел, как и к другим? Но я, я знаю тебя, я знаю тебя лучше, чем ты сам. Любовь дала мне то двойное зрение, которым читают всю внутреннюю жизнь человека; ею я поняла твое прошлое так же, как настоящее, с ужасом уразумела ту роль, которую когда-то играла в твоей жизни, и с грустью поняла то, чем я стала теперь для тебя.

Помнишь, когда сошлись мы в первый раз? Я была невестой, с громким именем и хорошеньким личиком; ты был только что выпущен в офицеры. Тебя тогда уже товарищи называли демоном; они не знали, сколько было верного в этом имени, а дали тебе его потому, что видели твой ум, везде, во всем одни только ум; но они не видели твоего сердца, а у тебя было чудное сердце, нежное и раздражительное до болезненности. Я сама тогда не знала и не понимала его. Ты полюбил меня – за что, не знаю, – но ты меня полюбил так, как никогда не любил прежде и как теперь не в состоянии больше любить. После, гораздо после, в долгие дни разлуки с тобой, я поняла эту любовь. Ты мне нравился, мне нравилось твое спокойное, благородное лицо, невольно обвороживала страстная, увлекательная речь, которая составляет твою главную прелесть; но я любила той ветреной любовью, которая ни к чему не обязывает и у женщин начинается за мазуркой, а кончается вместе с зимою, а у мужчин называется волокитством. В это время барон сделал мне предложение; он был богат, у моих родных не было ничего, кроме долгов и громкого имени; он был стар, но мне улыбалась молодость, свобода и весь заманчивый блеск света. Я вышла за него. Это была первая рана, которую я нанесла твоему самолюбию, болезненно-раздражительному сердцу. Отчего это? Чем оскорбил твое самолюбие этот брак? Ты на мне жениться не думал, ты знал, что вдвоем, почти без состояния, с нашими привычками, мы были бы несчастливы. Отчего же этот брак так ударил в твое сердце? Или тебе было бессознательно досадно, что другому достается за богатство то, на что тебе давала права любовь? Говорят, мужчины всегда завидуют, когда хорошенькая девочка выходит замуж. Если так, то мое замужество должно было тебе быть больно. Но рассудок говори тебе, что этот брак по необходимости, что не я предпочла тебе другого, а мои родные обвенчали меня с чужим богатством. И ты продолжал любить меня; но любовь твоя сделалась притязательнее, капризнее, лихорадочнее. Мне это не понравилось. Вокруг меня вилась веселая, красивая молодежь, которая любила так легко, так мило, так нетребовательно. Особенно в обществе, на балах, твоя любовь была тяжела; она дурно шла к лядовской кадрили и кружевам и тяготила меня.

Тогда я променяла тебя...

Простишь ли ты мне, Тамарин, это слово? Мне кажется одного его, одного напоминания достаточно для твоего самолюбия, чтобы снова восстановить тебя на несколько лет. Что я тогда сделала с тобой, мой добрый друг, мой злой демон! Какое оскорбление я нанесла твоему страшному самолюбию! Как беспощадно попала твое мягкое, детское сердце! Клянусь тебе, я не знала, я не понимала, не могла еще понять тебя тогда. Впрочем, к чему уверения? Ты сам это знаешь и все-таки не переменишься. Поздно! Поздно!

Несколько месяцев тебя нигде не было видно... Что ты пережил в эти месяцы? Потом, когда я тебя встретила в свете, для меня ты был неузнаваем. Ты был и весел, и мил, и чудно увлекателен; ты имел все достоинства светского человека и облек ими свою прежнюю мощную, высокую натуру. Но ты страшно облек себя светскими условиями и приличиями. Из-за них не прорывалось ни одно свободное чувство, ни один сильный порыв, который бы не подходил под устав света; ты стал типом умного, высокого *du comme il faut* – как это слово странно звучит с твоей прежней смелой, свободной натурой! И вот, изменившись, преобразясь, ты снова стал в толпе моих поклонников. Зачем ты это сделал? С досады, из любви или мщенья? Тогда я увидела разницу между тобой и другими: ты головой был выше всех. Я прозрела, я полюбила. Но было уже поздно! Тогда я только узнала любовь, и чем более я тебя знала, тем более любила; я тебе отдалась вся, вся... Теперь я удивляюсь, как ты не оттолкнул меня тогда! Как ты на слова любви не ответил мне укором и презрением! Но ты отомстил хуже.

Ты от меня взял все и ничего мне не дал. Тогда, как и теперь, твоя чудная двойственная натура, заманчивая странным столкновением противоположностей, влекла к себе, невольно обещала что-то высокое, прекрасное – и давала только холодную, мертвую любовь. Боже мой, что я с тех пор вынесла! Но я не ропщу, я не виню тебя: я, одна я всему причиной. Это я все сделала. Мне только хочется припомнить все, что пережили мы вместе.

Потом эта последняя вспышка твоей прежней натуры. Бездушный, о котором я думала, что любила, похвастался перед тобой моей любовью и назвал тебя своим преемником. О! Клянусь тебе, Тамарин, он никогда не был для меня тем, чем ты стал для меня, – моим идеалом, моим добрым гением, моим черным демоном! Но он во многом был прав. Отчего ты это сделал? Счел ли ты его слова за клевету, не зная, что я так низко упала, или в тебе пробудился остаток прежней любви и не вынесла твоя гордая натура поругания имени, которое она носила, может быть, еще глубоко, глубоко, где-нибудь на дне сердца? Или просто это был порыв оскорбленного самолюбия, при мысли, что не ты был первым?..

И мы расстались. Я помню это прощание: я плакала, я не понимала себя... стыд, угрызания совести, любовь, жгучая любовь. Ты был скучен, зол и равнодушен, а между тем ты хотел быть ласков! Твой последний поцелуй был холоден, как первый поцелуй нашего свидания. Без тебя я хлопотала о твоём прощении... не для тебя, нет. Собственно для себя. Мне было сладко быть чем-нибудь в твоей жизни, больно и отраднo произносить вслух твое имя. Все думали, что я хочу загладить свое прежнее поведение, поправить репутацию... что мне в ней!

И вот мы опять свиделись, чтобы снова расстаться, и, может быть, уже навсегда. Ты мало изменился, только еще более охладел, изленился жить и чувствовать.

Было ли это следствием прошлого, или и другие, как я, дали тебе, мой бедный друг, еще горький урок, еще тягостное убеждение, что жить и чувствовать значит страдать, что тяжело жить тому, кто наказан понимающей себя высокой натурой и имеет право быть страшно самолюбивым. Я тебя не спрашивала об этом: я боялась пробудить прошедшее.

Боже мой, стучатся. Пора! Пора! А мне хотелось еще так много сказать тебе. Что ждет меня? Впрочем, я рада, что муж все знает.

Будет мне его обманывать. Мне легче, что я перед ним, как и перед светом, могу сбросить тяжелую маску.

Только теперь он будет вечной преградой между нами. Я для тебя буду ничто, ничто, как заживо умершая! Это ужасно! Только иногда разве ты невольно вспомнишь обо мне, но как обо мне ты вспомнишь? Бога ради, не поминай меня дурно! Неужели я еще не выкупила своей вины? Да я не виновата: я была тогда другая, я была тогда для тебя тем черным насланием судьбы, которым ты был для меня во всю жизнь и чем будешь для других. Для других-то за что? Я хотела просить тебя, да нет, не нужно. Вчера я также приходила просить, но это было гибельно для меня. Верно, так уж надо, чтобы все так шло.

Люби Вареньку, если можешь любить, позволь и ей любить себя.

Быть может, она даст твоему сердцу ту жизнь, которую отняла я у него. Тогда я первая благословлю ее. Если же нет, что же? Ведь надобно ей когда-нибудь страдать. Ведь страдали же и ты и я!

Опять стучатся! Это голос барона... проси прости, прости твою Лидию.

Лошади поданы, мы сейчас едем; шесть часов утра. Ты еще спишь теперь, Тамарин, я тебя не увижу!»

Пока Тамарин читал письмо баронессы, Варенька ходила по саду. Что пережила она, бедненькая, в эти два часа с приезда Тамарина!

В жизни чувств, как в жизни растений, есть не уловимое мгновение, в которое они, как пунцовый цветок, прорвавший зеленую почку, вдруг являются на Божий свет, и все тайно вскормленное и бессознательно выношенное в сердце становится очевидностью. Этот фазис поутру в тот день пережила Варенька.

Еще накануне она легла в томительном незнании, еще ночью, как неясные грезы, неясны были ей чувства. Она проснулась, открыла глаза, взглянула на светлый день – и увидела, что она любит. Она не могла дать себе отчет, когда, давно ли полюбила Тамарина. Ей было ясно одно – что она его любит.

Еще поутру, сидя под окном, склонив на маленькую ручку свою хорошенькую головку и поджидая Тамарина, она раздумывала о своей любви.

Мысли и мечты ее были тихи и чисты, как ее любовь. Она не испугалась ее. Она не знала, что есть на свете ревность, неразделенная любовь, разлука, забвение, предпочтение другой и еще целая бездна этих фурий, которые по пятам ходят за любовью и готовы вместе с ней ворваться в сердце, чтобы истерзать и изгрызть всю его внутренность. Она ничего этого не знала. Она думала, что можно весь век пролюбить милого, поджидая его с уверенностью, что он сейчас придет, или просиживая с ним целые дни да слушая его лихую заколдованную речь.

А между тем Тамарин ехал медленною рысью и вез ей много новых ощущений, которых дай бы Бог и во век не перечувствовать. Прошло часа два с его приезда, и они не были тайной для Вареньки. Много пережила она в эти часы. Сначала ей было досадно, что Сергей Петрович прошел почти не останавливаясь мимо нее и уселся с Маврой Савишной; потом этот странный загадочный разговор с ним! И только что в конце разговора, как змея, уколола ее в сердце мысль, что Тамарин не любит ее, отнимает у нее даже надежду на свою любовь, в это время ему подают женское письмо, письмо из Лункина, значит, от баронессы, от женщины, которая его любит и которую, может быть, и он любит тайно!

Варенька несколько раз прошла бессознательно по аллеям. Она не знала, где она, что с нею, только чувствовала, что любовь ее вдруг выросла целыми годами. Мысли неясно проходили в голове, но ни на одной из них она не останавливалась: в груди что-то жало и давило ее; ей как будто хотелось плакать, но плакать она не могла; только две слезы выступили и повисли на длинных ресницах, те слезы, которые выжимаются из глаз физической болью и нисколько не облегчают страданий. Тамарин нашел ее в самом темном углу сада, сидящую на скамейке; вокруг нее на земле лежали листочки оборванной георгины, в руке она держала ошипанный стебелек.

– Вы здесь! – сказал он, подходя к Вареньке. – Насилу-то я нашел вас.

Варенька оправилась.

– Я нарочно ушла сюда: там жарко, а у меня нестерпимо болит голова.

И она приложила к бледному горячему лбу свою холодную ручку.

– От кого вы это получили письмо? – спросила она, стараясь как можно равнодушнее сделать вопрос.

– От баронессы, – отвечал Тамарин.

У Вареньки еще больше сжалось сердце: она знала чье это письмо, но не ожидала, что Тамарин назовет баронессу.

– А! Вы с ней в переписке! – сказала она холодно.

– Да; я с баронессой так давно и хорошо знаком, что она считает себя вправе, откинув церемонию, если встретится надобность, обращаться прямо ко мне.

– Письмами, на двух листах! – заметила Варенька.

– Я редко пользуюсь этой честью, – сказал Тамарин. – Сегодняшнее письмо – исключение. Баронесса уехала, я не знал о ее отъезде и потому не успел быть у нее: она хотела на прощание сказать мне несколько слов и объяснить свой отъезд.

Варенька встрепенулась как птичка.

– Баронесса уехала! – сказала она. – Как, куда это? Да так нечаянно!

– Она уехала в Петербург, – отвечал Тамарин. – Барон скрутил отъезд. Вчера с вечера они еще и не думали о нем. Но сегодня ночью ему представилась какая-то крайняя надобность. Вероятно, он получил эстафету, и в шесть часов они уехали.

– Баронесса уехала? – повторила Варенька. – И надолго?

– Не знаю, – отвечал Тамарин, – может быть, до следующего лета, вероятнее навсегда. Что она вас так интересуется?

Вареньку действительно интересовала баронесса, хотя они почти не виделись. Есть тайная связь между женщинами, которые любят или любили одного и того же мужчину. Каждая из них желает выведать его мнение о другой, инстинктивно понимая, что в подобных обстоятельствах с нею могут поступить, как поступили с тою.

– Мне страшно, – сказала Варенька, – что вы так равнодушно говорите о ее отъезде; неужели вы не жалеете о нем?

– Напротив, очень жалею! – отвечал Тамарин. – Да что же делать? Ей надобно ехать в Петербург – мне оставаться здесь. У всякого свои обязанности, свои интересы. Случай свел нас, случай развел. Я немного фаталист: думаю, что все делается потому, что надо, чтобы все так делалось. И потом, Боже мой! Сколько бы горя и тоски прибавили мы себе, если бы допускал себя живо принимать к сердцу разлуку или потерю всего, к чему привыкаем. А к чему не привыкаем мы?

Вареньке было грустно слушать эти слова, от которых так и веяло душевным холодом, и вместе отрадно: они усыпили ее ревность к баронессе. Варенька верила Тамарину и по влиянию, которое он имел на нее, и потому, что ей хотелось ему верить. Она не думала больше о баронессе, а думала только о себе: о том, что все-таки он и ее не любит.

– Вы странный человек! – сказала Варенька. – Я вас совсем не понимаю. Мне говорили о вас как о человеке без сердца.

– Добрая Надежда Васильевна! – заметил Тамарин.

Варенька улыбнулась и продолжала:

– Но это неправда. Во-первых, вы добры.

– Вы говорите колкости, Варвара Александровна! – сказал Тамарин.

– Ничуть. Все окружающие вас любят: это общий голос тех, кто вас знает на деле. Вы злы только на словах. Во-вторых, вы благородны; и потом, я не верю, чтобы мог существовать человек без сердца. Это что-то уродливое, неестественное. Отчего же эта всегдашняя холодность ко всему, в чем есть жизнь и чувство? Отчего это редко, редко и то как будто нечаянно,

когда мы вдвоем, у вас вырвется задушевное слово, теплое чувство? За что вы наложили на себя такой тяжелый крест! Зачем стараться так холодно, так издали смотреть на все! Неужели вам не скучно так жить? Как будто для вас и солнце не светит! – сказала грустно Варенька, вздохнула и опустила голову.

Тамарин как-то добродушно посмотрел на нее. Во-первых, как человек самолюбивый, он очень любил, когда говорили о нем; во-вторых, его, кажется, затронула эта любовь, это детское участие Вареньки, которой она ничего не доказала, кроме бесстрастного внимания.

– Скучно, невыносимо скучно! – сказал Тамарин. – Да что же делать! Я не всегда был таков; я верил много, но все, во что я ни верил, меня обмануло: и чем сильнее я верил, тем горше было разуверение. Я странно создан – сердце у меня страшно привязчиво. От этого я всегда всей силой воли держу его от увлечений; не всякому достается на долю встретить в самом начале жизни чистое, не испорченное светом существо, которое, раз полюбив, любит навек, и любит не понемногу, не столько, насколько позволено любить приличиями, а любит всеми силами души. И потом, встретив такую женщину, надобно редкое счастье обратить именно на себя эту любовь. Мне не выпал этот жребий, да и вряд ли уже и выпадет. А между тем все надеешься, все ждешь чего-то, а без этого не стоило бы и жить. Вы любили когда-нибудь? – спросил Тамарин, вдруг обратясь к Вареньке.

Варенька побледнела, как утренний месяц. Она так много выстрадала в эти часы, что сердце ее начало осваиваться со страданием, и вдруг что-то отрадное, что-то похожее на надежду мелькнуло перед нею; но она боялась верить ей; ей послышались опять эти холодные мертвящие слова: «Если вы встретите подобного человека, он вас не полюбит».

– Что вам до меня! – сказала она и с грустью, и с горечью. – Для меня хорошенькие мальчики с розовыми щеками и маленькими страстями: я не для людей с глубокими чувствами и высокой душой, как вы, например. – И Варенька постаралась насмешливо улыбнуться. – И они не для меня, вы сами это сказали!..

– Я говорил не о себе, – сказал Тамарин, – я о себе совсем невысокого мнения, и притом вы меня не дослушали: Иван Васильич помешал. Люди, о которых я вам говорил, не полюбили бы вас потому, что не узнали и побоялись бы отдать вашему детскому постоянству бедный, последний остаток своей веры... А между тем, Боже мой, сколько счастья тому, на кого падет ваша первая любовь! Сколько бы новых сил, сколько бы утраченных убеждений возвратила она!..

Тамарин задумался; он долго смотрел на Вареньку, потом тихо взял ее руку.

– Любите меня! – сказал он почти шепотом.

Варенька была как в огне – ей казалось, что кровь жгла ее.

Такой резкий переход от ревности и безнадежности к полному счастью отуманил ее. Она не знала, что отвечать, что делать. Прежде ее девственная застенчивость не допускала мысли сказать «люблю» молодому человеку. Теперь вся подавленная любовь еще сильнее, еще своевольнее просилась вырваться наружу. Голова ее горела; она не отнимала руки и молчала.

– Любите меня хоть немного! – сказал Тамарин. Голос его был чудно нежен; он смотрел на нее, и в его глазах был какой-то тихий, ясный свет.

Варенька смело приподняла головку, щеки ее горели, рука была горяча. Она взглянула прямо в лицо Тамарину своими светлыми темно-голубыми глазами и, как наивный ребенок, с любовью отвечала:

– Разве вы не хотите, чтоб я вас много любила?

IX

Вскоре после этого мне как-то вздумалось побывать у Володи Имшина; он был у меня несколько раз, и мне надо было заплатить ему визит: деревня деревней, а и в ней есть визиты. Его именице было недалеко за Неразлучным Мавры Савишны. Он жил в небольшом флигеле. Старый дедовский дом стоял с закрытыми ставнями и заколоченными дверями и, разрушаясь, ждал, пока его сломают.

Взглянув на этот дом, мне стало грустно: я вспомнил, когда бывал в нем еще мальчиком у дедушки Володи. Он жил барски, на большую ногу, и проживало в нем полторы тысячи душ. Тогда этот дом кипел жизнью и был сборным местом всех окружающих помещиков. Теперь он угрюмо, как будто нахмурясь, стоял посреди большого двора и, казалось, с презрением смотрел сквозь закрытые ставни на маленький флигель. Мне кажется, если бы встал из гроба его старый барин, точно так же бы взглянул он в лицо своего внука, на молодое тщедушное поколение, которое живет прижавшись и сегодняшним займом прикрывает вчерашние прорехи, забыв, старый кутила, что он сам же этому причиной.

Володю я застал одного: он лежал на постели и читал в июле одну из первых книг какого-то русского журнала. Володя незадолго перед тем возвратился из города, то есть из губернского города, в который он ездил часто, но ненадолго. Эти лихорадочные поездки лучше всего обрисовывали его характер. Он был из тех, которые не в состоянии ни примириться с неприятным положением, ни идти против него. Володя уезжал в город, потому что Варенька скучала с ним и отдавала видимое преимущество Тамарину, и вскоре возвращался назад, потому что в городе ему было скучно и ему хотелось опять увидеть Вареньку. Володя, должно быть, ужасно скучал; он мне обрадовался, принял меня весьма радушно и, кажется, был очень доволен моим посещением; но он не умел принимать. Домом управляла его старая нянька. В хозяйстве у него была смесь женатой домовитости с бездомностью холостяка; оно, как и сам Володя, не принадлежало веку: не было у него ни размашистого, нерасчетливого обилия, ни уютного комфорта. Я приехал к нему после обеда. Он показал мне свою небольшую псарню и бедный конский завод, разрушившиеся и умаленные дедовские заведения. Уходясь, мы возвратились в комнаты, и нам подали чай. Чай и трубка располагают к откровенности; разговор от гнедо-карих жеребят и половых щенков перешел к предметам более интересным и, как говорят, животрепещущим. Речь шла о соседках.

Володя сначала жался, но потом стал откровеннее: видно, ему давно хотелось высказаться, но не было кому; за неимением другого, он был откровенен со мной.

– Давно вы были у Мавры Савишны? – спросил он меня.

– Давно не был: недели две. А вы?..

– Я был недавно, но ненадолго; впрочем, я ныне к ним редко езжу.

– Отчего же это? Прежде, кажется, было не так?..

– Прежде было не то! – грустно отвечал Володя. – Прежде там была Варенька; теперь она стала Варвара Александровна, из ребенка она стала девицей, у нее и привычки переменились, и вкус стал другой. Теперь ей не нравятся те, которые играли с ней в куклы и росли вместе. Ей надобно новое, оригинальное. Где ж нам быть оригинальными! – сказал Володя с горькой усмешкой.

Видно было, что он досадовал и в последнем слове крепко проявлялось желание зло состричь насчет Тамарина. Да не его это было дело: он был рожден просто добрым мальчиком. Мне невольно пришло в голову, что, если бы на его месте был Сергей Петрович, уж отделал бы он кого захотел.

– А что, Иван Васильич! – продолжал он. – Как вы думаете, любит Варенька Тамарина?

– Любит, – отвечал я, – очень любит! Да и за что ж ей не любить его: она же такая добрая.

– Нет... не то: я хотел спросить, любит ли она, то есть влюблена ли она в него?..

– Ну, этого не думаю, – сказал я. – Варвара Александровна – девица тихая, милая, любящая, но не пылкая. Не думаю, чтобы она увлеклась кем бы то ни было.

Володе хотелось верить моим словам, как и мне самому, может быть; но действительность плохо оправдывала их.

– Нет, Иван Васильич, нет! Кажется, вскружил он ей голову! А жаль ее, право жаль! И что она нашла в нем? (Володя, видимо, избегал произносить фамилию Тамарина, как будто это имя кололо его.) Что он? Эгоист страшный, смеется надо всем, – и над ней будет смеяться после. Вы думаете, он ее любит? Нисколько не любит! Он так только, чтобы время убить. А она ему верит... У него и намерений благородных нет. Он на ней не женится, право, не женится, – вот, вспомните меня... Если бы можно было, я бы его... Да мне и придраться к нему нельзя: всегда такой вежливый; впрочем, его и не запугаешь: он уж обстрелянный гусь! А жаль, право, жаль, да нечего делать! – сказал он, вздохнув.

И мне было жаль Вареньку, потому что много правды было в словах Володи; но еще более мне было жаль самого его. Видно было, что многое шевелилось в душе его, и многое хотел бы он высказать, да не мог.

Есть же такие бедные натуры, которым природа отказала в возможности проявлять наружу свои чувства, вероятно, найдя этот дар бесполезною для них роскошью, как будто предугадывая, что свет немного потеряет, если останутся для него тайной эти мелкие чувства и ощущения.

Я недолго пробыл у Володи. Солнце начинало садиться, я велел подавать лошадей. Когда я сел в тарантас, Володя спросил меня, скоро ли я буду у Мавры Савишны. Я отвечал: вероятно, скоро.

– А вы? – спросил я его.

– Я... не знаю, – сказал он, – что мне там делать! Поехал бы в город, да здесь уборка задерживает, это скучно... Да и в городе, впрочем, скучно! – прибавил он, как будто про себя.

Он остановился, хотел, казалось, еще что-то сказать, замялся – и не сказал ничего. Я подождал немного, пожал ему руку и сказал: «Пошел!» Мне было жаль Володю.

Было уже поздно, когда я подъезжал к Неразлучному. Солнце садилось; свежий ветерок отраднo пахнул в лицо после жаркого дня. Вечер был чудесный; бойко катился мой тарантас по тройной колее узкого проселка. Я въехал в рошу. Вдруг, сзади меня, с боковой дороги, я слышал топот, обернулся и ахнул от удивления. В черной амазонке и мужской соломенной фуражке, на сером Джальме скакала Варенька. Рядом с нею, на черном как смоль коне, ехал Сергей Петрович, а сзади, на длинноногой старой рыжей лошади, в армяке, ехал кучер, – как говорится, на случай. Поравнявшись со мной, Варенька узнала меня и ловко осадилa лошадь. От этого толчка тоненькая талия ее погнулась, и она покачнулась на седле как цветок на стебле.

– А! Иван Васильич! Откуда вы?

– От Имшина, – сказал я.

– Поедeмте к нам, чай пить.

– Не поздно ли? – Жена будет сердиться.

– Ничего, поедемте, тамап будет вам очень рада. Да? Мы вас будем ждать!.. Посмотрите, хорошо я езжу?

Она толкнула лошадь и понеслась; вслед за нею, кивнув мне головою, понесся и Тамарин. Кучер отстал от них, а они мчались. Неясно, как в сновидении, виднелась и колебалась передо мною в густом тумане стройная фигура Вареньки. Рядом с нею, на черном как смоль коне, летел Тамарин. Даль слила промежутки, который разделял их; серый Джальма был почти не виден, пыль густым облаком стлалась в ногах; и вот, сквозь вечерний туман, в тесной раме двух рядов вековых зеленых сосен, мне казалось, я видел картину из немецкой баллады, читанной в детстве. Далеко впереди, черный всадник на черном коне как демон мчался по воздуху, и

возле него стройная женская фигура неслась и колебалась, как будто он держал ее невидимыми руками, как будто он уносил ее куда-то с собою. Я вспомнил прозвание, данное еще в школе Тамарину, цену, которую шутя назначил он за своего Джальму, и сердце грустно сжалось во мне: я не знаю, почему мне стало жаль бедную Вареньку.

Подъезжая к Неразлучному, моя пристяжная оборвала постромку; это задержало меня несколько минут, притом же я и ехал нескоро. Поэтому, когда я вошел в чайную Мавры Савишны, я нашел всех уже вокруг стола за самоваром. Группа была чудесная.

Мавра Савишиа, в чепце, из-под которого выбивались седые волосы, со своим добродушным, спокойным лицом, как патриарх семейного кружка, сидела в сафьянных вольтеровских креслах. Возле нее на столе лежали очки и чулок – ее неразлучные атрибуты; у нее на коленях собачка терпеливо дожидалась своей доли сдобных домашних булочек. Справа у нее возле дивана стройная Варенька стояла перед самоваром и делала чай. Она успела переменить туалет, и, вероятно, чтобы не терять времени на переделку прически, на ее русой головке был легонький чепчик. С разгоревшимся от езды личиком, в этом чепце, она походила на молоденькую даму, только что вышедшую замуж. Прямо против нее, немного боком к столу, а лицом к Мавре Савишне, сидел Тамарин. По праву сельской свободы он остался в своем верховом костюме и курил папироску. В этой картине семейного круга лицо молодого мужчины было необходимо; но если бы я составлял ее, я бы не выбрал Тамарина. Его бледное с тонкими чертами лицо, его веселая и вечно немного насмешливая улыбка, его всегдашняя грациозная, ленивая поза и, наконец, свежий петербургский покрой платья – все это за деревенским самоваром, среди добродушных русских лиц, от которых веяло откровенностью и здоровьем, было чрезвычайно эффектно; но оно не шло к ним.

Странна как-то была фигура Тамарина в этой обстановке. Она как будто была вынута из другой картины, картины иного общества, иного круга, и гармонировала не по единству с другими лицами, а только по контрасту. Все это пришло мне в голову, пока я, усевшись на четвертом крае стола, пил чай со сдобными домашними булочками и слушал Мавру Савишну. Мавра Савишна говорила, что Сергей Петрович балует ее Вареньку, что она никак не могла отговориться от позволения подарить Джальму Вареньке, когда Сергей Петрович узнал, что она не ездит верхом оттого, что у нее нет лошади, что она наконец вынуждена была принять подарок, но согласилась на это с одним условием, что Сергей Петрович возьмет от нее рыжую тирольскую корову, которая доит ведро в день. Сергей Петрович отвечал, что Джальма для него слишком кроток, что он не мог попасть в более хорошенькие руки, что рыжая корова гораздо полезнее Сергею Петровичу, потому что он очень любит по утрам кофе со сливками, и что он ничего не потеряет в мене, потому что уже назвал ее m-lle Кардовиль.

Варенька слушала и улыбалась. Она, казалось, была совершенно счастлива; слух ее с удовольствием ловил каждое слово Тамарина, голубые глаза часто останавливались на его лице и с любовью следили за всем движением. Казалось, и на Тамарина эта любовь произвела доброе влияние. Он сделался не так холоден, веселость его была добродушнее, он более примирялся с жизнью. Я просидел недолго у Мавры Савишны и уехал с приятным впечатлением. Воображение мое обещало впереди много хорошего моей Вареньке. Я видел Тамарина освеженного безыскусственной деревенской жизнью, обновленного столкновением с этими добрыми и чудесными существами, каковы Мавра Савишна и ее дочка. Я воображал Вареньку с розовым веселым личиком, с чепцом на голове, как ее только что видел, счастливую женою Тамарина, которого она любит и перерождением которого гордится, как делом собственного влияния. Так ехал я от Мавры Савишны и в сорок лет строил воздушные замки. Тихая ночь была тепла, воздух душист, месяц светил на светлом небе. Покойно катился тарантас мой по гладкой дороге. Все располагало к сладкой мечте, и мудрено ли, что мечта моя, как бабочка на любимый цветок, полетела к Вареньке и наобещала ей много счастья. Только много стоило труда моему воображению совладать с непокорным холодным лицом Тамарина, наградить его лицо

деревенским румянцем, надеть брюшком его аристократическую фигуру и вместо модного платья английского покроя нарядить его в деревенский костюм нашего помещика.

Х

Была поздняя осень. Жена моя уехала в деревню к своей матери погостить на месяц, а я остался один и скучал порядочно; на дворе то дожди, то заморозки, на охоту ездить было нельзя. Поэтому я ужасно обрадовался, когда однажды ранним утром МIRON, камердинер, он же и стремянный, пришел мне сказать, что на дворе хорошо и можно выехать потравить по последнему черноstopу.

Я велел седлать лошадей, напился чаю, хватил на дорогу чарку травнику и отправился.

Поле было удачно и потому заманчиво; переезжая от острова к острову, я заехал довольно далеко и не видал, как шло время; а между тем небо нахмурилось, пошел целый осенний дождь, который имеет дурную привычку пробивать до костей; пустой желудок, как недремлющий берегет, хоть и не звонил обед, но напоминал о нем какими-то странными звуками, подобными отдаленному раскату грома; пора было убираться до дому, а до дому было не близко. По счастью, дорога шла через Рыбное Сергея Петровича, и я вздумал заехать к нему; кстати же и давно я у него не бывал. Я пустил лошадь крупной рысью, оставил далеко позади охоту и через полчаса въехал на барский двор. Слезая с лошади, я увидел недалеко от крыльца хорошенький дорожный фаэтон, видимо петербургской работы, весь в грязи и пыли от дальнего пути. «Кто бы это?» – подумал я и, войдя в переднюю, поспешил удовлетворить свое любопытство.

– У вас гости? – спросил я у Якова, камердинера Сергея Петровича.

– Точно так-с, князь Островский, – отвечал он.

– А кто такой, братец, этот князь? – продолжал я, не удовлетворенный лаконизмом Якова.

– Из Петербурга-с. Они служили вместе с Сергеем Петровичем.

Более нечего было ожидать от него, и, стряхнув грязь с охотничьего платья, я пошел далее.

Я нашел Сергея Петровича в кабинете одного. Князь Островский был в другой комнате, вероятно для поправления дорожного туалета, потому что он вошел через пять минут хорошеньким, как Адонис. Ему было, как я после узнал, лет под тридцать, хотя казалось на взгляд двадцать пять. Он был небольшого роста, но крепко и прекрасно сложен, лицо выразительное, острое и очень красивое, густые черные, назад зачесанные волосы вились от природы и были подстрижены у шеи; вообще он был самой выгодной наружности и пользовался репутацией ловеласа. Сергей Петрович представил нас друг другу. Разговор князя был весел, остер и не отзывался строгостью правил. Он сделал честь закуске, поданной в ожидании обеда, водке и хересу, с аппетитом и жаждою, не уступающими уездному чиновнику или землемеру. Вскоре подали и обед, нарочно пораньше для дорожного гостя. Обед у Сергея Петровича всегда был отличный. Вино от Рауля. Князь узнал это по первой рюмке мадеры. Впрочем, судя по количеству им выпитого вина, он должен был быть знатоком в нем. Он пил систематически, т. е. мадеру после супа, портер за говядиной и т. д. Сергей Петрович тоже пил хорошо, и вино на него никогда не имело действия. Но он дошел до шато д'Икем, своего любимого вина, и остановился на нем. Князь продолжал до шампанского и ему отдал предпочтение. Я было потянулся за ними, но у меня вскоре начала кружиться голова, и язык, без видимой причины, очень странно останавливался на каждом «ш» и «ч», а они встали из-за стола как ни в чем не бывало, только князь был еще веселее и острее, а Тамарин злее на язык. Я было хотел отправиться домой, но Сергей Петрович уговорил меня отдохнуть у него. Вследствие чего я лег на диване, выкурил трубку, выпил чашку кофе и погрузился в то приятное и ленивое полубдение, которое следует после хорошего обеда с добрым вином. Мысли в голове были неясны и легки и приятны, как мечты, глаза не смыкались, но лениво смотрели из-за полуопущенных век и не жились полусветом комнаты. Погода была на дворе серая. Смеркалось. Мелкий дождь бил в окна, а в комнате было тепло и отрадно. Свечей не было, но в углу топился камин и грел и освещал

розовым переливающимся светом; два светских приятеля сидели перед ним, погружаясь в мягкую двухспинную козетку. Ноги их лежали на канвовых подушках, между ними на маленьком столике стояли две бутылки: одна с замороженным шампанским, другая с холодным шато д'Икемом. Они курили, попивали и разговаривали. Эта легкая, острая беседа долетала до меня и приятно нежила мой провинциальный слух, перебирая звучные знакомые мне понаслышке имена. Вся она осталась у меня в памяти.

– Ну, что Саша подделывает? – спросил Тамарин.

– Растолстел ужасно, а все первый мазурист.

– Ну а К.? Урод по-прежнему?

– Еще хуже, он сходил с ума прошедшей весной, и у него остался вид помешанного... уморителен!

– А брат его Василий? Этот, надеюсь не сошел: ему не с чего.

– Напротив, душа моя! Представь странность: этот нашел на ум.

– На чей же это? Разве занял у кого-нибудь: ему ведь не привыкать делать долги.

– Нет, ему Москва дала ум напрокат! Вот как это было: приезжаю я в Москву нынешней зимой, вообрази мое удивление, меня все спрашивают: «Что Базиль К***? знаете вы Базиля К***? вот умный молодой человек! вот злой язык!» Я отвечаю, что знаю одного, да полно, про него ли вы спрашиваете? «Базиль К***, которого сестра за Иваном В***». – «Точно так. Только его мы знаем за дурака; разве поумнел в отпуску». Все мне возражают: какой он дурак! Помилуйте, он был здесь проездом и на балу у В*** очень зло сострил над одним известным дураком. Что ж оказывается? Он повторил *bon-mot*, которое было сказано о нем же несколько лет назад тобой, или мной, или кем-то из умных людей. И вот как делается репутация! Стоит ли после этого быть умным!

– Мой милый, давно известно, что дуракам счастье. Кстати о дураках: что барон? Ты его видел в Петербурге?

– Как же, дня за три до отъезда я его встретил на вечере у N. Там я узнал, что ты живешь здесь.

– А! Разве еще обо мне говорят в Петербурге?

– Очень мало. Разве иногда вспоминают твои *bons-mots*, анекдоты, или последнюю твою историю, которая наделала много шума. Именно о тебе и вспомнили по случаю возвращения баронессы. Говорят, что она сюда нарочно приезжала для тебя и что у вас снова что-то вышло. Правда?

– Вздор! Мы с ней встретились нечаянно. А ее ты видел?

– На этом же самом вечере. Она была чрезвычайно интересна, но холодна как мрамор. Верно, тебе мы этим обязаны. В доброе старое время наша любовь жгла, Тамарин, а теперь, видно, только морозит.

– В таком случае оставайся верным шампанскому, тогда твоя любовь будет очень хорошо пристроена.

– Как твоя у Вареньки... так кажется?

Это имя было так неожиданно брошено в разговор, что сон, который начинал было клонить меня, мигом прошел; я думаю, что даже я повернулся на диване, потому что Сергей Петрович оборотился и посмотрел на меня; но я закрыл глаза и притворился спящим. Князь тоже взглянул на меня.

– *Qui est ce butor?* – спросил он вполголоса.

Я тогда не понял этого слова и только после в лексиконе у детей нашел его не совсем выгодное значение.

– *C'est notre voisin*, – отвечал Тамарин, – *un bon-homme accompli*; он спит, – прибавил он.

– Я думал, не родственник ли он твоей Вареньки.

– Нет, но он друг дома.

- То есть в связи со старухой?
- Помилуй: ей шестьдесят лет.
- Что ж, душа моя, всяко бывает, Ninon например...
- Ну, она не Ninon, а Мавра Савишна; однако скажи, пожалуйста, Островский, кто тебе говорил о Вареньке?
- Ага! Верно, я попал прямо в цель. Ты, который вечно восставал против друзей, говори же теперь, что они эгоисты и заняты только собою!
- Да, если нельзя сделать сплетни или распустить клевету на чей-нибудь счет.
- Тамарин, ты неисправим!
- Я это говорю не на твой счет, душа моя: ты еще никому не успел рассказать про меня; но я бы желал знать того друга, который тебе рассказывал?
- Мне говорила баронесса. Она тебе велела кланяться и пожелать успеха у Вареньки. Больше я не успел и расспросить. Скажи же, пожалуйста, она замужняя или вдовушка?
- Ни то, ни другое: она еще девочка.
- Девочка! – воскликнул Островский с ужасом. – Это до такой степени непростительно, что я налагаю на тебя бутылку шампанского штрафа.
- Сергей Петрович позвонил, велел взять пустую бутылку и подать новую. Когда бутылка была переменена и лакей вышел, князь выпил стакан и продолжал.
- Так ты хочешь жениться? – сказал он с особенным сожалением.
- Откуда тебе приходит в голову такой вздор, Островский? Ну, гождусь ли я для семейной жизни? Если бы мне наконец и пришла эта дикая фантазия, то стоило бы только взглянуть на тебя, и она наверное бы прошла.
- Что ж, ты меня считаешь опасным? – спросил князь самодовольно.
- Да; как и всех рогатых.
- Смейся, смейся, mon cher, – отвечал он очень серьезно, – а дай Бог всякому быть так счастливым, как я!
- Спасибо!
- Я прожил с женою три года душа в душу, на четвертом мы друг другу надоели и разъехались; теперь мы живем еще счастливее и не беспокоим один другого. Что ж тут дурного?
- А что, она все такая же хорошенькая?
- Очень хороша: в последний ее проезд в Петербург я было чуть не влюбился в нее и начал волочиться, но она меня приняла очень сухо и послала к актрисам и вдове Клико; к счастью, она скоро уехала; я послушался ее совета и утешился. Я волочился за ней нынешним летом в Баден-Бадене и говорит, что она еще похорошела. Ты ведь за ней тоже ухаживал?
- По обязанности твоего друга, – не больше. Впрочем, я был несчастлив.
- Полно, так ли? Ты что-то все жалуешься на неудачи. Это моя старая метода; пожалуй, ты скажешь, что был несчастлив и у баронессы, и у Вареньки. Кстати, что тебе за идея пришла волочиться за девушкой? Ведь ты в нее не влюблен.
- Полно, братец, кто ж в наши лета влюбляется.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.